

БОЛЬШИЕ ФФ КНИГИ

Север
Гансовский



ДЕНЬ ГНЕВА
НОВАЯ
СИГНАЛЬНАЯ

« А З Б У К А »



Фантастика и фэнтези. Большие книги

Север Гансовский

День гнева. Новая сигнальная

«Азбука-Аттикус»

2023

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-445

Гансовский С. Ф.

День гнева. Новая сигнальная / С. Ф. Гансовский — «Азбука-Аттикус», 2023 — (Фантастика и фэнтези. Большие книги)

ISBN 978-5-389-24721-5

Север Гансовский пришел в литературу как реалист. Но в тесных рамках царившего тогда (1950-е годы) унылого литературного домостроя ему не хватало воздуха. Такое было со многими отечественными фантастами – Сергеем Снеговым, Аркадием Стругацким, Александром Шалимовым... Вот и Гансовский в начале 1960-х отворачивает лицо от соцреалистического канона и совершает шаг в неизвестное – пишет свой первый фантастический рассказ. Несмотря на простой, шаблонный даже сюжет – в Сибири обнаружен последний на земле мамонт, – рассказ привлек к себе внимание читателей живым, не книжным, а человеческим языком и яркостью описываемых деталей. И еще трагической нитью, вплетенной автором в ткань сюжета. Все это – живой язык, яркие, запоминающиеся картины и равнодушное отношение писателя к проблемам человека и всякой жизни в мире и во Вселенной – и станет вскоре творческой манерой Гансовского и выведет его в ряды ведущих писателей-фантастов России. В книгу включено лучшее из написанного автором за время его творческой деятельности на ниве отечественной фантастики.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-445

ISBN 978-5-389-24721-5

© Гансовский С. Ф., 2023

© Азбука-Аттикус, 2023

Содержание

Идет человек	7
День гнева	16
Младший брат человека	16
Шаги в неизвестное	26
Разговор на взморье	26
Коростылев начинает свой рассказ. Первый час в изменившемся мире	27
Инженер встречает незнакомца	32
Поход в Глушково. Начало разногласий	34
Драка	38
Попытка связаться с нормальным миром	43
Погоня	48
Железнодорожная катастрофа	50
Новые встречи с Моховым	53
Увеличение скорости	57
Снова разговор на взморье	63
Хозяин бухты	64
Ослепление Фридея	76
Стальная змея	88
Новая сигнальная	101
Голос	117
Восемнадцатое царство	135
Конец ознакомительного фрагмента.	138

Север Гансовский

День гнева. Новая сигнальная

© С. Ф. Гансовский (наследник), 2023

© А. В. Жикаренцев, состав, 2023

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Азбука®

Идет человек

Над широкой равниной у края зубчатых гор кружились облака, и наконец первый раз за много дней, даже месяцев, выглянуло солнце. Просвет в небе все увеличивался, посветлели буковые и грабовые леса, переплетенные лианами и виноградом дубовые рощи, поляны, заросшие густой травкой, и степь, где трава человеку по пояс.

Лошади, зебры и козлы в смешанных стадах отряхивали короткую шерсть и фыркали, вертя головой. Угрюмый носорог, живой яростный таран, вышел из кустарника на открытое место, понюхал воздух, шумно втянув его в широкую грудь, удовлетворенно хрюкнул.

В стаде лесных слонов вожак – брюхо у него все поросло густым длинным волосом – громко протрубил, приказывая своим родичам перестроиться для выхода на поляну. Выдры и лисицы вылезали из нор. Гигантский бобер ростом с современного волка блаженно зажмурился на бережке глухой лесной черной речки.

Солнечный луч пробился через несколько навесов зеленых листьев и упал на лоб леопарду. Он открыл один глаз, потом закрыл его. Ему не хотелось двигаться, так приятно было ощущение тепла.

И бегемот на болотистом плесе реки тоже радостно зафыркал. Он мерз в течение долгих месяцев, не понимая, что происходит и отчего ему постоянно холодно. Он был последним бегемотом в этих краях. Его породе надлежало вымереть от наступающего с севера похолодания, но он не знал этого и только удивлялся, что нигде не встречает ни самок, ни молодняка, ни таких же старых, матерых самцов, как сам.

Солнце светило, капли только что кончившегося дождя сверкали в листве и в травах, все запахи на равнине переменялись, став гуще и сильнее.

И тогда в предгорье, на полянке недалеко от ручья, проснулся Его Величество Пещерный Лев. Сначала шевельнулся кончик хвоста, затем волной подернулась шкура на спине, затрепетали ноздри широкого черного носа, открылись желтые глаза. Лев поднял могучую голову, привстал, потянулся, выгнув спину и царапая землю когтями передних лап. Он встряхнул гривой, глубоко вдохнул, с шумом выдохнул и потоптался на месте. Тут же лежали остатки кабана, зарезанного день назад. На спине и задних ногах еще было почерневшее мясо – его не съели мучающиеся голодом гиены, не решились подойти близко к спящему Владыке.

Лев лениво тронул объединенную кабанью голову, постоял миг рядом, чуть присел, с неожиданной легкостью бросил в воздух свое четырехсоткилограммовое тело, пролетел десять метров и мягко, как пролился, опустился на траву возле ручейка. Не дрогнула, а лишь плавно качнулась головка ромашки в сантиметре от его лапы.

Пещерный лев опустил голову, напился воды, чавкая. Широкий розовый лист языка облизал губы – серой обезьяне, вжавшейся высоко над ручьем в ствол дерева, странно было видеть этот язык, такой беззащитный среди жутких белых клыков.

Затем Его Величество еще раз потянулся, мурлыкнул дважды, как бы примериваясь, пробуя голос, полуприсел на задних лапах, набрал воздуха, из глубины себя пустил низом могучий, все обнимающий рев.

Звук пошел по травам, заплутал между деревьями леса, пронесся над болотами, лугами и потоком степью.

И все живое на километры вокруг замерло, застыло на мгновение. Стада зебр и лошадей остановились, как бы натолкнувшись на невидимую стену, леопард в чаще привстал и окаменел, вожак слоновьего стада растопырил уши.

Звук нагнетался толчками, нагоняя тоску, обещая смерть и завораживая. После минутного оцепенения прыгнул в воду бобер, крупным махом пошел в глубь лесной чащи леопард – сам яростный боец, он все равно не хотел очутиться на одной дорожке с пятнистым желтогла-

зым царем. Слоны потянулись на открытое место, повернуло в сторону от приречных кустарников стадо буйволов, ошалело ринулся, не разбирая куда, носорог. Земля задрожала от тысяч копыт – побежали лошади и зебры.

Всемогущий знал, что он предупреждает свою будущую жертву, но знал также и то, что она не уйдет от него. Слон, буйвол, антилопа все равно живут там, где они живут и где им знакома местность. Страх не заставит их покинуть пределы знакомого – ведь там, за этими пределами, ждет еще больший страх. Лошадь не побежит от волка по неизвестным местам – ей нужно знать, на какой проплешинке между трав она вдруг резко свернет в сторону, заставив преследователя проскочить вперед. И олень не станет мчаться куда придется, а поскачет известной ему тропинкой, чтоб не застрять рогами в ветвях мелколесья.

Владыка чувствовал, что звери лишь перегруппируются, но не уйдут далеко, и этой именно перегруппировки он хотел, рассчитывая найти свою жертву там, где ей должно быть. Как шахматный игрок в эпоху человека и шахмат, он желал, чтоб противник правильно разыгрывал определенный дебют, так ему было удобней.

И действительно, на границе своей территории стада копытных остановились, постояли и повернули обратно, леопард сделал большой круг и вернулся почти туда же, где был. Все стало пастись, охотиться, принохиваться, прислушиваться. Но напряженно. Ожидая, пока новый, удовлетворенный рык скажет: «Я поймал, я сыт. Живите».

Пещерный лев еще потянулся и сел, то выпуская, то убирая когти.

Он был великолепным устройством для убийства. Самым совершенным, какое пока еще знала история Земли. Доведись ему встретиться с тираннозавром, крупнейшим из хищных ящеров, от которого льва, правда, тоже отделяли миллионы лет, желтый царь одолел бы, наверное, и тираннозавра. Ящер был громаден, но туп, малоподвижен. А у льва были не только стальные мускулы, но и хитрость, и мгновенная реакция.

В нем природа дошла до высшего. Такой грудью с перекатывающимися мышцами, такими когтями и клыками, такой силой в задних лапах, бросающих его тело на десять-пятнадцать метров, не мог похвастаться никто. Каждое его движение было законченным, почти художественным. В нем пела музыка, он был живописен и скульптурен. Им, Его Величеством Пещерным Львом, природа как бы говорила то, что она в дальнейшем скажет человеческим искусством.

Лев перескочил через ручей и, не таясь пока еще, сошел в лесостепь на охоту. Страх катил перед ним, как артиллерийская подготовка; все живое, за исключением мелочи, вроде птиц, белок и разных жуков, разбегалось, оставляя мертвую зону.

Человек по имени Уц, старый, но крепкий, стоявший на холме в нескольких километрах от лежки льва, услышал голос желтого царя уже ослабленным. Тяжкий, все заполняющий рык и дошел до Уца лишь потому, что тот тоже обладал почти звериным слухом. Человек понимал, что Владыка вряд ли придет за добычей так далеко, но плечи у него дрогнули. Он отметил в уме, что на охоту надо будет идти сегодня в другую сторону.

Сжав деревянное копьё с каменным наконечником – слишком ничтожно оно было и против всемогущего льва, и даже молодого клыкастого кабана в лесу, Уц оглянулся на стойбище.

Обрыв над рекой был источен глубокими пещерами, где поселились люди орды, в которой старшим был Уц. Целых полгода – от самого низкого солнца до самого высокого – почти вся жизнь совершалась там, внутри. Из-за дождя. Туда доставляли добычу, там ее жарили. Туда женщины и дети приносили мягкие сладкие корни и луковицы, если их удавалось найти. Там спали у костров и сидели днем, глядя на потоки воды, завесой падающие с небес.

Но сегодня появилось солнце, и тотчас орда выбралась наружу из сырости и холода каменных убежищ.

На трех больших кострах жарили остатки зарезанного леопардами молодого носорога – звери сожрали только голову, живот и уши. Бородатые мужчины готовили оружие – обкалывали кремневые ножи и рубила, оббивали наконечники для копий. Женщины, распластав на земле олени шкуры и прибав их по краям колышками-сучками, отскребали изнутри мясо и жир. Одна из них, молоденькая девушка с копной светлых волос, с повязкой из беличьих шкурок вокруг пояса – ее звали Ру, – посмотрела на холм и улыбнулась. Неподалеку в реке, стоя по пояс в воде, несколько человек ловили рыбу прямо руками. Поймавший выбрасывал добычу на берег, там дети собирали ее и относили к костру. Был как раз ход рыбы.

Все шло в общий котел – закон, никем не высказанный, но само собой разумеющийся. С этим законом рождались и умирали. Даже маленький ребенок, хоть и ослабевший от длительного голода, тащил в стойбище съедобный корень, а не совал себе в рот.

Люди орды были некрупные: сто шестьдесят – сто семьдесят сантиметров ростом. Женщины поменьше, мужчины побольше. Они были и не сильные. Во всяком случае, слабее всех животных одного с ними размера и веса. Самый крепкий охотник, не будь с ним ножа, не смог бы справиться даже с антилопой.

У них были выпрямленные фигуры, длинные руки и ноги. Высокий, прямой, а не скошенный лоб и челюсти, которые не выдавались вперед.

Эти люди очень редко встречали других таких же, себе подобных. Они не знали, откуда пришли сюда, но теперь им стало совсем плохо в предгорье. Плоды и мучнистые корни поблизости были все съедены. Мелкая дичь разбежалась, а ходить за ней далеко в степь они не решались, опасаясь леопардов и других хищников.

Следовало уходить отсюда, но людям страшно было оставить удобные пещеры, где было не так холодно во время дождей и бурь и входы в которые можно было завалить камнями на ночь.

Уц посмотрел на стойбище, потом на небо. Опять накатывали тучи, готовясь поглотить солнце.

У него заныли кости – так хотелось тепла и света. Бабка рассказывала ему, что прежде было гораздо лучше. Он и сам смутно помнил жаркие лета, одно, может быть два. А дальше так оно и пошло: дождь да дождь. Была даже зима особенно холодная, когда с неба посыпалось белое. Десятки бегемотов умерли тогда у реки. Пировали гиены, но орда почти не воспользовалась мясом огромных неповоротливых зверей. Слишком холодно было. Люди укрылись в пещерах. Кутались в шкуры, но все равно многие погибли к весне.

Рядом с Уцем сидел на траве хромой Яро, молодой охотник, которому кабан недавно пропорол клыком ногу. Сейчас Яро не мог охотиться наравне с другими мужчинами и почти все дни проводил у костра, изготавливая ножи и наконечники для копий.

Он держал в руках толстый, длиной в человеческий рост, сук березы. Сук был сырой, он отвалился давно, дерево внутри сгнило и высыпалось, осталась одна кора. Заглянув в один конец, можно было увидеть в другом небо и лес.

Яро поворачивал сук и так и этак. Он заткнул более узкую дыру травой, принялся сыпать туда песок. Потом высыпал и продул отверстие.

– Зачем Яро сук? – спросил Уц. – Сук легкий, суком нельзя ударить.

– Яро не знает, – ответил хромой. Он говорил, держа у рта березовую трубу, и его голос получился неожиданно низким и гулким.

В те времена еще не знали слов «ты» и «вы». Люди говорили о себе и обращались друг к другу только по имени.

Девушка Ру, оставив свою шкуру, поднялась на холм.

– Пойдет дождь, – сказала она. – Ру хочет убрать костер в пещеру.

Уц покачал головой:

– Нет. Сучья сырые, и пойдет сильный дым. Пусть костры горят здесь.

Девушка шагнула к Яро. Она и пришла ради него. Тот поднялся, держа в руках трубу. Они стояли рядом, двое молодых людей. Степь и лес простирались перед ними. Вдали видна была группа слонов, а за ними темной массой стада лошадей. Тучи сгущались, одна налезала на другую. Только над горной грядой было чистое небо.

Старик Уц смотрел на него.

– Яро не идет на охоту? – спросила девушка.

– Нет. Яро будет здесь, – ответил хромой, и это так громко прозвучало через березовую трубу, что девушка отскочила и потом, засмеявшись, положила руку на сук.

– Дерево кричит...

За полдня пути от стойбища, где звери были не такими пугаными, трое охотников орды подкрадывались к лошадям. Это было долгое и трудное дело. Животные стояли на открытой поляне – четыре самки и самец. Кобылы опустили морды в траву, паслись. А самец оглядывался по сторонам. Принюхивался, прислушивался, шевеля ушами.

Подбросив в воздух травинку, охотники определили направление слабенького ветерка, затем стали ползти таким образом, чтоб он дул от животных к ним. Ножи и мешочки с накопниками они оставили в кустах и двигались налегке, только с копьями. Иногда они застыли неподвижно, затем принимались ползти так медленно, что их не испугался даже выводок кроликов неподалеку.

Они проползли две трети нужного расстояния, когда ветер переменился. Им пришлось вернуться в кусты, сделать большой обход и начать подкрадываться с другой стороны.

Когда до животных осталось только двадцать шагов, но кидать копье еще нельзя было, жеребец забеспокоился. Издав короткое ржание, он стал всматриваться в траву, где затаились Ог Длиннорукий, Мав Быстрый и еще один охотник, которого звали Рам.

Самец насторожил уши, долго-долго смотрел в траву, потом отвернулся. Но люди не шевельнулись. Это ведь было соревнование в хитрости, и победитель получал жизнь. Жеребец опять посмотрел в их сторону и лишь потом опустил голову, принюхиваясь к зеленым побегам.

Тогда трое проползли еще пять шагов, разом вскочили и кинули тяжелые неуклюжие копья. Только одно попало самцу между ребер.

Маленькое стадо бросилось прочь, жеребец тоже поскакал. Охотники, у которых мускулы от напряжения ослабли, не стали его преследовать. С радостными криками они уселись на траву, потом, отдохнув, вернулись в кустарник за ножами и другим имуществом и затем уже направились по кровавому следу.

Жеребец упал в полусотне шагов от них. На губах у него выступила красная пена.

Увидев приближавшихся охотников, он вскочил, подпрыгнул, как бы угрожая им, и из последних сил побежал вниз по каменистой ложине. Копье болталось у него в боку.

Охотники пошли за ним. Лощина круто сворачивала. Трое повернули и опять увидели зверя лежащим. Это была прекрасная добыча. Такая, что редко доставалась им. Теплое свежее мясо, настолько мягкое, что его и нежареным хорошо было есть.

Ог Длиннорукий вынул из мешочка рубило.

Но Рам вдруг остановился. Какой-то особый запах обеспокоил его.

Он посмотрел в сторону и увидел человека. Вернее, человеческого ребенка. Мальчика. Смуглого, очень коренастого, шире их самих в плечах, хотя он был далеко не взрослый. Волосы у него на голове росли не такие, как у трех охотников, а прямые, жесткие, как лошадиная грива. Руки в бугристых узлах мускулов, а взгляд почти звериный, испуганный, но пристальный и жестокий.

Мгновение детеныш-получеловек смотрел на охотников, затем метнулся в кусты.

А в сотне шагов по ложине горел костер, возле которого стояло несколько гигантских существ в повязках из звериных шкур и с каменными топорами в руках.

Тогда трое охотников, не думая ни секунды, не стовариваясь и сразу забыв о своей добыче, повернулись и кинулись прочь. Они бросили копья, чтоб те не мешали им, и, выбравшись из лощины, понеслись длинными прыжками. Им уже было ни до чего. Смерть посмотрела на них, и гибель нависла надо всем стойбищем. Они наткнулись на орду Бродячих, чьим главным занятием была охота на людей.

Сзади они слышали крики. Бродячие начали погоню.

Около четырех десятков мужчин, женщин и детей растягивались в широкий полукруг. Они знали, что догонят, – по-звериному выносливые и втрое-вчетверо сильнее некрупных охотников.

Это было странное ответвление человеческого рода – Бродячие. Люди, а может быть, и полулюди, в которых развитие пошло в сторону силы. Огромные, до двух с половиной метров роста, они могли руками задушить лошадь и даже тигра, но умели также добывать огонь и делать себе оружие из камня. Разум теплился под узким лбом, но низкий, придавленный свод черепа не позволял мозгу увеличиваться. У них были отчетливые, как у гориллы, надглазные валики, вытянутые вперед челюсти, короткая, толстая, заросшая волосами шея. Они ходили на чуть согнутых ногах, готовили себе на ночь гнезда из ветвей или травы или просто спали у костра сидя, обняв ноги руками и положив голову на колени. Они становились все сильнее и мускулистее из поколения в поколение, боясь на земле только владыку – Пещерного Льва. Но постепенно гигантское тело с маленьким мозгом стало требовать слишком много пищи. Они уже ушли от зверей, им было трудно тягаться с ними в проворстве, а брюхо при толстых костях и тяжелых гудах мышц было ненасытным. Это был Человек Сильный, а не Человек Разумный.

Всегда страдая от голода, они сделали своей добычей тех, кто тоже не обладал ни звериным нюхом, ни силой, ни ловкостью. Бродячие истребляли орды таких же, как они, людей, крепких и низколобых, заросших волосами, но только поменьше ростом. Тонких и стройных охотников они встретили впервые и поняли, что их ждет пиршество.

На миг выглянуло солнце и осветило всю картину. Степь со стадами лошадей и козлов, лес, у кромки которого слоны обламывали ветви с деревьев, три маленькие фигурки убегающих охотников и широкий полукруг Бродячих.

Сначала трое оставили преследователей далеко позади. Они были быстрее, но знали, что это не спасет их, не обладающих неутомимостью Бродячих. На их памяти уже было одно такое нападение на стойбище, когда только случайный лесной пожар отрезал от людоедов кучку спасшихся.

А Бродячие не очень спешили. Они не только охотились в этот момент, но и переселялись. Все свое было у них с собой. Женщины несли детей и шкуры, у мужчин на поясе, болтаясь на ходу, висели ножи и рубила. А каменные топоры были в руках. Им было все равно, где останавливаться на ночь. Они знали теперь, что где-то есть стойбище охотников, что они перебьют там всех и там же останутся, запасшись пищей на два-три дня.

Опередив Бродячих на несколько сотен шагов, Ог, Рам и Мав Быстрый разом, как будто их объединяло общее чувство, упали в траву, проворно доползли до полосы кустарников, там поднялись и, прикрываясь зарослью дубняка от преследователей, побежали под углом к прежнему направлению.

Охотникам нужно было добраться до реки, броситься в нее и оборвать там свой след.

Но еще десятки километров отделяли их от поросшего тростниками речного ложа.

Они бежали час, равномерно, молча, не оглядываясь, поскольку знали, как много сил берет и поворот головы, и даже одно только на бегу сказанное слово.

Однако Бродячие не сбились. Неровная степь скрывала от них охотников, но рядом с главой племени скорой рысью двигались следопыты, приносиваясь на ходу. Они пошарили по кустам, показали новое направление, и орда повернула на восход. Она распадалась постепенно на два эшелона: мужчины и дети повзрослее впереди, женщины сзади.

Бродячие двигались неотвратно, как наводнение или обвал, они должны были все равно настигнуть свою добычу.

Возле новой полосы кустарников преследуемые охотники опять остановились. Двое уже начали заметно уставать. Грудь и плечи у Ога с Рамом покрылись потом, они дышали тяжело. Только Мав был свеж.

Трое бросились на траву, отдышались. Потом Мав сказал:

– Ог пойдет сюда. – он показал рукой. – Рам побежит сюда. А Мав Быстрый пойдет в стойбище. Ог и Рам покажутся Бродячим.

Двое охотников согласились и кивнули. Чувство связи со своим родом было у них сильнее инстинкта самосохранения. Они понимали, что должны пожертвовать собой, чтоб Мав мог предупредить стойбище. Ог и Рам поднялись и побежали к виднеющемуся вдали лесу. А Мав переждал еще немного, пополз вдоль кустарников и, оставляя между собой и Бродячими невысокий холм, пустился к реке.

И снова преследователи не поддались на хитрость. Им была знакома такая и у зверей встречающаяся повадка, когда животное отвлекает охотников на себя, чтоб спасти молодняк. Только двое гигантов бросились за Рамом и Огом, а остальные побежали с криками и верещанием по следу Мава – именно потому, что он скрывался.

На полдороге к лесу Ог и Рам разделились. Один бросился влево, другой взял правее. И двое преследователей тоже разделились, каждый избрав себе жертву.

Рам услышал приближающиеся шаги и поднял голову. Его удивило, что к нему торопилась молодая женщина, или молодая самка. Она размахивала дубиной со вделанными в нее медвежьими клыками. Она была почти вся покрыта рыжеватой шерстью, и длинные космы никогда не чесанных волос свисали по обе стороны полужвериного лица. Мускулистые руки были вдвое толще, чем у Рама.

Женщина вскинула дубину, рыча. Тоской заволокло Раму глаза, и все для него кончилось.

Огу Длиннорукому сначала повезло. Его преследовал не очень быстрый мужчина, и он почти добрался до леса, когда понял, что уже не может бежать. На глаза ему попала осыпь, обнаженная дождевым потоком. Ог схватил камень и, когда преследователь подошел ближе, метнул в него, попав в плечо. Но Бродячий даже не остановился – это было все равно что кидать камнями в носорога. Ог вступил в лес и тут решил, что все-таки он, Длиннорукий, самый сильный из людей стойбища. И что надо не просто так отдать свою жизнь.

Гигант навалился на него. Они сцепились и упали, ломая кустарник. Выводок кабанят брызнул из-под них в разные стороны. Огу удалось ударить врага по голове вторым захваченным в осыпи камнем. Бродячий ослабел, но только на миг. Желтыми зубами он грыз Огу плечо, добираясь до горла.

Могучий кабан-секач, сопровождавший в лесу свое семейство, услышал треск ветвей и увидел что-то большое, катающееся по земле. Страх и злоба тотчас вспыхнули в нем. Он ринулся на это большое, поддел его клыком. Большое распалось надвое. Секач опять ударил и одну и вторую половину и бил до тех пор, пока они не перестали рычать и шевелиться, превратившись в груды окровавленного мяса...

Мав Быстрый той порой сделал длинный бросок и еще раз оторвался от орды гигантов. Но у него уже начали деревенеть ноги, дыхание сделалось коротким. Во рту пересохло, ему хотелось пить.

Там, где степь начала подниматься, полого спускаясь к реке, он позволил себе маленький отдых, затем, приподнявшись, глянул назад и увидел, что орда Бродячих следует все-таки именно за ним. Это его не удивило. Он понимал, что у волосатых полулюдей человеческая хитрость соединяется со звериным нюхом и они могут идти по следу не сбиваясь, почти как идут волки.

Нарвав охапку мокрой травы вокруг себя, он пососал ее, освежив рот, вскочил и кинулся к реке. Он бежал и бежал, стараясь дышать равномерно, но в голове у него мутилось, кровь сильно стучала в виски, а грудь внутри жгло. Серая лента реки показалась наконец впереди, он в последний раз ускорил бег, вошел в густые прибрежные тростники, жадно напился, плеская себе воду в рот горстью, а потом побрел по колено в воде, часто меняя направление. Там, где заросль была особенно плотной, он присел на корточки и только тогда в полной мере ощутил, как смертельно утомлен. Он бежал почти полдня непрерывно. Собственное тело казалось ему пустым и высохшим. Только ум работал напряженно, слушали уши и глядели глаза.

Через какое-то время крики раздались поблизости, потом шаги зачавкали в болотистой почве. Трое Бродячих прошли совсем поблизости, потом остановились, переговариваясь короткими звуками. Они нюхали воздух, и Мав порадовался, что ветер идет от них, а не к ним. Появилась женщина с ребенком на спине, нагнулась и напилась, как животное, прямо ртом.

Затем кто-то заверещал впереди. Целой толпой гиганты побежали мимо Мава на другой берег. Они торопились теперь, не глядя по сторонам, как если б решили не искать его больше.

Он долго сидел в воде, не решаясь подняться, едва веря в свою победу. Когда говор орды затих вдали, он встал. Дыхание у него перехватило на мгновение, потом он поднял руку ко рту, чтобы подавить крик.

Уже вечерело. Далеко слева по берегу реки поднимались к небу три столбика дыма. Их было ясно видно. Туда-то и пошли охотники за людьми.

Мав чувствовал себя совсем разбитым. У него оставался теперь только один выход – перегнать по этому берегу толпу Бродячих и раньше их пересечь реку напротив стойбища.

Он выбрался на сухое место. Руки и ноги были странно легкими. Усталость и одеревенение вроде бы прошли, просто тело не желало слушаться его.

Шатаясь, он побежал.

Стойбище готовилось к ночи. Костры еще горели снаружи, но женщины носили внутрь пещер охапки хвороста. Мужчины, собравшись, рассуждали, отчего не вернулись люди из степи. Такое вообще случалось редко. Ночь принадлежала хищным зверям, а не человеку, ее следовало проводить у огня среди своих.

Дети, готовясь ко сну, расстилали подсушенную траву в темных гrotах.

Девушка Ру сидела на камне рядом с молодым Яро. Тут же лежал и пустой березовый сук. Яро просверливал острым камнем дырочку в медвежьем зубе – это должно было стать женским ожерельем.

Старый Уц на холме беспокойно вглядывался вдаль. Трое ушедших утром охотников были молодыми и сильными. Их гибель сильно ослабила бы орду.

Туман поднимался над рекой. Кругом стоял запах жареной рыбы, отбивая все другое. С поляны, где горели костры, доносились говор, смех, восклицания.

Затем крик раздался со стороны плеса, и люди увидели, как из воды по пояс в тумане вышел человек.

Все насторожились.

Совсем голый, без оружия, он вышел на освещенное место, рухнул на колени, хватая ртом воздух, потом показал рукой:

– Бродячие! Близко!

Стон разнесся над стойбищем. Завыли, запричитали женщины, собирая детей. Мужчины хватали оружие – топоры, копья. Несколько человек бросились к большим камням, которыми на ночь заваливали изнутри входы в пещеры.

В орде было около сорока мужчин, но все понимали, что, будь врагов много меньше, все равно спасенья не было. Рядом с волосатыми гигантами даже самые сильные бойцы выглядели

как дети. Но и бежать было тоже некуда, потому что Бродячие настигли бы людей стойбища и в лесу.

Несколько мгновений царила суeta на поляне, затем все убралось в две самые большие пещеры. Стало тихо. Только потрескивали брошенные костры.

И тогда появились Бродячие.

Первые тени мелькнули за пределами освещенного пространства и остановились. Постепенно людоеды накапливались в слитную толпу. Они уже устали, но не так, как Быстрый. Представители племени Человека Сильного, они были выносливее и, кроме того, были в этом соревновании преследующими, а не убегающими. Охотника Мава весь день угнетал страх, а им, наоборот, придавала сил жажда догнать и добыть.

Наконец вождь вышел на поляну – косматый, два с половиной метра ростом, с плечами как скала. Тотчас по его зову подбежали, пригнувшись, два следопыта, а затем все освещенное пространство заполнила радостно воющая толпа.

Из кустов вытащили обмершего от страха старика, который не успел скрыться. Ему свернули шею, бросили тело на костер. Ненасытные животы Бродячих уже требовали пищи, но, чувствуя, что добычи будет много, они хотели сначала убить всех.

Вождь осмотрелся, затем бросился к откосу горы. Камень, загородивший вход в ближайшую пещеру, был не очень велик. Наверху между его поверхностью и известняковым сводом оставалась широкая щель. Оттуда полетели копья. Однако осажденным негде было размахнуться как следует. Только одному охотнику удалось задеть руку гиганта.

Бой начался. Бродячие навалились на камень. Изнутри держали его, но силы были неравны. Огромная полуженщина-полузверь выдернула сквозь щель одного из охотников стойбища, перехватила его обеими руками, не оборачиваясь, бросила назад. Он пролетел над толпой, упал на землю, и тут на него набросились дети.

Через минуту Бродячие ворвались в пещеру. Огонь погас внутри, его затоптали. В темноте раздавались рычание и стоны. Но вторая большая пещера еще держалась. Там Уцу сильным ударом топора удалось свалить одного из нападающих. Мощная туша заклинилась между камнем и стеной.

Бродячие пытались протолкнуть его вперед, но мертвый гигант не двигался с места. Схватка замерла на миг.

И вдруг исподволь и тихо сначала, а затем усиливаясь, раздался неподалеку тяжелый низкий звук. Грозный первый предупредительный рев – голос Пещерного льва.

Владыка был тут, рядом. Совсем близко.

Все стихло, и в тишине лев пустил свой второй рык. Он низко потек по поляне, поднялся затем, оглушая, заполняя все, сотрясая деревья, и камни, и людей, не позволяя слышать собственное дыхание, обессиливая, нагоняя смертную тоску. Звук дошел до самой большой громкости и оборвался.

Он был уже ближе. И стало ясно, что Владыка двигается к пещерам.

Бой кончился. Бродячие с воплями бежали, бросая топоры, дубины – все, что у них было. Только один гигант, которому копьё пробило живот, бился, выгибаясь, на поляне.

Наутро остатки орды пустились в путь наверх. Нельзя было оставаться – Бродячие вернулись бы, чтоб уничтожить всех.

Уц вел своих людей в горы. Несли детей, запас пищи, оружие и шкуры. Инстинктивно старейшину стойбища влекло к югу, он не знал, что уходит от холодов наступающего ледника.

Люди двигались два дня, переночевали, сидя на корточках, как обезьяны, прижимаясь друг к другу и не разводя огня. На третье утро они достигли перевала и осмотрелись.

Было ветрено. Позади лежала обширная равнина, вся затянутая тучами. Дождь лил, контуры знакомых лесов и перелесков терялись во мгле. Но впереди над ними небо сияло голубизной – казалось, они стоят на грани, разделяющей две погоды.

К югу мягко, округло спускались горы, лежали луга и поросшие кустарником долины. Солнечные лучи осветили людей. Они стояли молча, им сразу сделалось теплее. Дождь шел почти что рядом, но они уже вышли из-под него.

Уц дал сигнал, и они начали спускаться.

Ру шла рядом с прихрамывающим Яро. Он нес с собой все тот же березовый сук. Мав Быстрый – он остался в живых – потрогал пальцем трубу.

– Это первый раз так, что человек Яро заговорил, как лев.

Позади орды, над потонувшей в дожде степью, началась гроза. Молнии косо пересекали многослойные тучи, гремел гром.

В мир входило нечто новое, способное совершенствоваться бесконечно, – разум. Началась история Человека.

День гнева

Младший брат человека

...Когда все выговорились, полковник авиации, который прежде молчал, обвел нас всех взглядом и сказал:

– Хотите послушать одну историю? За подлинность ручаюсь. Сам участник.

Все согласились. Он еще раз на нас посмотрел и прикрыл дверь в коридор.

– Первый раз решаюсь рассказать в компании. Вернее, один раз попытался, но приняли за сумасшедшего. Да, так вот...

Это было примерно двадцать лет назад. Точнее – в апреле 1941 года. Мы с товарищем потерпели аварию в Сибири. Летели из Эглонды на Акон, и нам пришлось сделать вынужденную посадку в тайге.

Не буду долго рассказывать, как это случилось. Мы были в метеорологической разведке. Сначала сбились с курса – вышел из строя гирокомпас, – потом попали в болтанку. (Я был пилотом, мой товарищ Виктор Комаров – штурманом.) В облаках самолет вдруг начал проваливаться – наскочили на нисходящее воздушное течение. Я взял штурвал на себя, задрал нос машины, чтобы набрать высоту. Но самолет уже стал вялым. Отдал штурвал – машина меня не слушается: начали обледеневать. Беру круто влево, но и тут никакой опоры, как будто весь мир падает вместе с нами. Короче говоря, с двух тысяч метров мы покатались по наклонной – примерно так, как летит лист бумаги, если его в тихую погоду бросить с третьего или четвертого этажа. На высоте метров в сто пятьдесят выскочили из облаков. Какая-то снежная долина и реденький лес бешено несутся навстречу. Еще несколько попыток взять контроль над машиной – все так быстро, что даже не успеваешь испугаться. Удар, треск, длительный скрежет. Тело мучительно рвется вперед, ремни врезаются в плечи. Еще удар, стекла кабины вываливаются. Последний толчок, пол кабины стал ее стеной, и мы висим на ремнях.

А потом начались открытия. Чувствуем запах жженой резины – машина горит. Выкарабкались из самолета, Виктор сразу упал на снег – сломана нога.

Каким-то образом у меня хватило сообразительности оставить его тут же лежать и прежде всего нырнуть в кабину за нашим «НЗ». После этого я оттащил Виктора метров на пятьдесят в сторону. И вовремя, так как через минуту огонь добрался до бензобака, и самолет взорвался.

Теперь представьте себе наше положение. До Акона триста километров. Мы – в дикой местности, где человека не бывало, может быть, от самого сотворения мира. Еды – на неделю, и у Виктора сломана нога. Почти нет шансов, что нас заметят с самолета, так сильно мы сбились с курса. И никакой возможности связаться с людьми, поскольку рация погибла вместе с машиной.

А кругом была таежная тишина, сыпал снежок, и маленькие корявые северные елки стояли как приговорившие нас к смерти безжалостные судьи.

Я старался, чтобы мой голос прозвучал уверенно:

– Ну как, Витя?

Виктор пожал плечами, как бы говоря: «Ерунда. Бывало и хуже».

На самом деле хуже у нас никогда еще не бывало. Мы ведь оба были совсем мальчишки: ему двадцать четыре и мне столько же.

Я сделал лубки из веток Виктору на ногу и устроил его на сложенном в несколько раз парашюте. Вечер и ночь мы провели у костра. У Виктора начался жар, нога распухла и побаг-

ровела. Ему было больно, но он терпел. Разговаривать мы старались о чем-нибудь таком, что не имело связи с нашим тогдашним положением.

Утром я отправился в разведку. Когда мы еще падали, я успел заметить, что на севере долину замыкает горная гряда. Теперь нужно было установить, сумеем ли мы через нее перебраться.

Я оставил Виктору разведенный костер, запас сучьев и пошел. Снег в лесу был рыхлый, я проваливался иногда по пояс. (Позже я несколько раз пытался сделать себе лыжи из обломков фюзеляжа или из еловой коры, но мне не удавалось так их прикрепить к унтам, чтобы они не сваливались.)

Часа через три пути лес поредел, начался мелкий тальник, сохлые низкорослые березки. Потом и они кончились. Передо мной раскинулась равнина. Снег сделался плотным, его утоптали ветры. Тут я почти не проваливался. И эту равнину прямо, справа и слева закрывала стена горного кряжа, которая тянулась с запада на восток как будто специально затем, чтобы преградить нам путь на север, к Акону.

Я подошел ближе к стене. Кое-где снег осыпался, обнажились отвесные, в трещинах скалы. О том, чтобы втащить туда Виктора, не могло быть и речи.

Помню, что в тот день, ища подходящее место, я прошел километров пять к повернул назад, по своим следам, только когда совсем стемнело.

Костер еще тлел. Виктор лежал в полузабытьи. Лицо его было очень красное – то ли от костра, то ли потому, что у него был жар.

Когда я рассказал о своем путешествии, Виктор вдруг совершенно некстати улыбнулся:

– А ко мне мамонт приходил.

– Какой мамонт?

– Какой? Обыкновенный мамонт. Приходил, постоял тут. Поколдовал хоботом над костром.

Я подумал, что Виктор бредит, и, чтобы отвлечь его, заговорил о другом.

Он немножко обиделся:

– Ты что, не веришь?

– Нет, почему не верю? Что тут особенного?

Он совсем обиделся и замолчал. После этого мы съели по куску шоколада и вскоре заснули. Ночью был небольшой снегопад, но вообще погода стояла удивительно теплая.

Днем я опять искал путь через гору, и снова безрезультатно. Теперь я пошел в другом направлении и прошагал километров десять, но каменная стена везде была неприступна. Было похоже, что мы попали в ловушку – в огромную долину, из которой нет выхода.

Усталый и разбитый, я возвращался вечером к Виктору и, не доходя до костра метров тридцати, из леса увидел, что на полянке появилась большая копна сена. В том состоянии подавленности, в котором я тогда находился, я даже не удивился этому и как-то глупо подумал, что вот, мол, Виктор набрал где-то сена, теперь тепло будет спать и не придется заготавливать топливо для костра. (Мне и в голову не пришло себя спросить, откуда могло здесь, в тайге, взяться сено и как сумел бы Виктор со сломанной ногой сюда его притащить.)

А то, что высилось на полянке, в самом деле походило на копну. Огромное, мохнатое, черное, загородившее от меня костер и освещенное по бокам его красными отсветами.

Я подошел ближе. Сердце у меня забилося быстро-быстро, и я остановился, спрятавшись за небольшую ель.

На полянке стоял мамонт.

Гигантский зверь, не меньше четырех метров высоты. Массивный, как двухэтажный деревянный дом.

Седоватая грива спускалась по его могучим плечам, как у непричесанной женщины спускаются по щекам волосы. Отблески пламени играли на тяжелых, загнутых назад бивнях.

Он был весь совершенно неподвижен, только хобот извивался над костром, выделявая в нагретом воздухе какие-то петли, круги, восьмерки.

Помню, что первым моим движением было выхватить ТТ и оттянуть затвор. Но, к счастью, я сдержался. Сообразил, что револьвером тут ничего не сделаешь.

Между тем в позе мамонта не было ничего угрожающего. И Виктор вовсе не выглядел обеспокоенным. Виктор лежал на спине и улыбался, губы его шевелились, он что-то говорил мамонту.

Минуты три или четыре я смотрел на них. Потом огромная живая гора двинулась, мамонт переступил и протянул хобот к Виктору. Я затаил дыхание. Но ничего не произошло. Виктор поднял руку и потрепал мамонта по хоботу. Тот отвел его в сторону и, как видно, выдохнул. Струя воздуха взметнула фонтанчик снега и бросила Виктору в лицо. Он засмеялся, тряхнул головой и, что-то сказав, хлопнул ладонью по хоботу.

Мамонт снова весь качнулся и, повернувшись к костру, принялся описывать над огнем круги и петли.

Не знаю, сколько времени я простоял за деревом. Мамонт все «колдовал» над костром, а Виктор улыбался и что-то говорил.

Потом я обошел костер и полянку стороной и, зайдя за спину Виктора, опустился с ним рядом на парашют. У меня было инстинктивное чувство, что мне не следует самому подходить к мамонту, а Виктор должен меня ему представить. Наверно, так поступил бы совладелец номера в гостинице, если бы, вернувшись к себе, увидел, что у другого совладельца сидит очень важный и значительный гость.

Виктор обернулся ко мне.

– Мамонт, – сказал он. – Видишь, мамонт.

У него было мокрое и совершенно счастливое лицо.

Я кивнул. У меня пересохло во рту, я не мог говорить.

Увидев меня, мохнатая гора пришла в движение. Тяжелые ноги переступили, глянцевитые увесистые бивни проплыли в воздухе и повисли надо мной. Протянулся хобот, розовый на самом кончике, как пятка, и откуда-то с самого верха горы посмотрели два маленьких старых и умных глаза.

– Не бойся, – услышал я голос Виктора. – Он совсем ручной.

Мне в лицо ударила компрессорная струя, затем хобот убрался, бивни поплыли назад, зверь повернулся к костру.

Он был так велик, что только хобот и глаза ощущались живыми, а все остальное казалось каким-то огромным механизмом.

– Но ведь это мамонт, – сказал Виктор. – Это не бред, верно? Мне сперва казалось, что я брежу. Он пришел днем и постоял тут.

– Мамонт, – ответил я. – Какой же это бред? Настоящий мамонт.

Мы посмотрели на мамонта, потом друг на друга, и неожиданно мною овладел припадок какого-то глупого истерического смеха. Это было слишком неожиданно, парадоксально, даже глупо. Это ломало привычные представления. Мамонты вымерли сотни тысяч лет назад. Каждый школьник знает, что мамонт – это «ископаемое животное, в самом начале четвертичного периода населявшее Европу, Азию и Северную Америку и являвшееся современником первобытного человека».

И вот теперь «ископаемое» стояло рядом с нами и вертело хоботом над разложенным мною костром.

Неестественно. Нелепо. Все равно как увидеть летающего по небу Георгия Победоносца с копьем или, например, ангела.

Наверно, эта нелепость и вызвала у меня дурацкий смех.

Виктор тоже начал смеяться. У него тряслось все тело и дергалась больная нога. Ему было больно, но он не мог остановиться.

Мамонт покосился на нас и оттопырил маленькие, поросшие шерстью уши.

Насмеявшись, мы наконец успокоились и, вытирая слезы и держась еще за животы, посмотрели друг на друга.

– Об этом надо скорее сообщить, – сказал Виктор.

– Как можно скорее, – согласился я. – Представляешь, какая сенсация?

Теперь я внимательно рассмотрел мамонта. Конечно, он был гораздо больше всех слонов, каких я видел в зоологических садах или в цирке.

Глаза только сначала показались мне маленькими. На самом деле они были гораздо больше человеческих. Они выглядели умными и немного усталыми, как будто мамонтовой душе жилось неуютно в тюрьме такого гигантского неуклюжего тела.

Удивительными были клыки. Два огромных серых кольца, массивные, каждое весом килограммов в семьдесят пять, а может быть, и больше. Они так загибались назад, что кончиками едва только не вонзались в морду мамонта у самого основания хобота.

На спине, сразу за головой, начинался большой горб – это делало гиганта чем-то похожим на зубра. Над глазами были две впадины, которые резко отделяли лоб от морды. Самая макушка заросла особенно густой и длинной шерстью, так что казалось, будто мамонт по самые глаза нахлобучил себе меховую шапку.

Вообще он был одет как раз по сезону.

По хоботу шли поперечные складки. Шерсть тут росла короткая и на вид мягкая. Почему-то казалось, что было бы очень приятно погладить его по тому месту, где начинались клыки.

Мы всё смотрели на мамонта, а он всё стоял над огнем. Наверно, ему нравилось ощущать непривычное тепло костра.

Потом мы с Виктором заснули, а утром увидели, что наш гость ушел.

Вся поляна была изрыта, а на юго-восток между елками тянулись круглые, полметра в поперечнике, следы.

И вот тогда мы решили, что нам не следует «отпускать» мамонта и мы должны двинуться по этим следам.

Теперь мне даже трудно понять, чем было вызвано такое решение. Как будто это зависело от нас – «отпускать» его или нет! Как будто мы в состоянии были его догнать, если б он захотел от нас отделаться! Как будто, наконец, наше собственное положение было таким, что нам не следовало о нем задуматься!

Но мы действительно не думали о своем положении. И Виктор и я были страшно возбуждены все последующие дни и по какому-то молчаливому соглашению совсем не вспоминали о том, что продукты на исходе, что выход из долины еще не найден и между нами и ближайшим селением лежит триста километров нехоженой тайги. Мы разговаривали только о мамонте.

По всей вероятности, нас обоих сделала счастливыми мысль о том, что один из самых жестоких и непреклонных законов природы, который дарит силу и развитие одним ветвям жизни и обрекает на гибель другие, дал наконец осечку. Мамонт должен был вымереть, но вот он жил. Он жил, и об этом в целом мире никто еще не знал, кроме нас двоих.

Может быть, для такого открытия и в самом деле стоило пожертвовать жизнью.

Короче говоря, мы двинулись за мамонтом и два дня шли по его следу.

Мы убеждали себя в том, что не имеем права упускать случай изучить зверя, что человечество не простит, если мы не дадим ему неопровержимых доказательств существования мамонта.

Впрочем, не совсем верно, что мы шли по следу. Мамонт вовсе и не пытался от нас скрыться.

В первый же день, когда я тащил Виктора, мы настигли мамонта километров через семь. Это, правда, было уже к вечеру. Он стоял по плечи в мелком ельнике, обламывал самые верхушки елочек и как-то очень спокойно и методически засовывал их в рот.

Один раз с такой елочки прыгнула белка, молнией мелькнула по хоботу на спину и скатилась с хвоста. Он не обратил на нее внимания.

Нас он тоже подпускал совсем близко. Так близко, как мы сами хотели. Из этого мы сделали вывод, что здесь, в долине, у него нет никаких врагов.

А вообще же местность была полна зверьем. Ночью мы часто слышали далекий волчий вой, где-то ревел олень или лось, и однажды рядом в кустах раздалось чье-то рычание.

На второй день утром, когда мы опять тащились за мамонтом, в тальнике раздался треск, на нас вдруг вылетел молодой лось с задранной головой и выпученными кровавыми глазами, шарахнулся в сторону и ткнулся мордой в снег. На спине у него был какой-то серый нарост, и, когда зверь упал, нарост оказался рысью с узкими желтыми глазами и кисточками на ушах.

Мы отогнали рысь двумя выстрелами из ТТ, и лось достался нам.

Схватка с рысью происходила на глазах у мамонта. Выстрелы и незнакомый запах обеспокоили его. Он перестал жевать еловую ветку, шерсть на спине поднялась дыбом. Потом он вытянул хобот, приносясь, с силой втягивая и выталкивая воздух. И вдруг затрубил.

Трудно сейчас описать этот звук. Что-то похожее на гудок парохода, доносящийся издали в сырую погоду из-за какого-нибудь острова или поворота реки. Звук, источник которого трудно определить и который кажется раздающимся сразу повсюду.

Это было очень внушительно.

Мамонт сделал несколько шагов к нам и остановился, переминаясь с ноги на ногу. (Вообще это было у него признаком волнения.) Казалось, он усомнился, так ли уж безобидны эти маленькие существа, которых он видит тут впервые.

Мы здорово испугались, но ревом и качанием все и кончилось.

Он потоптался, затем шерсть на спине опустилась, и зверь повернулся к елкам.

Вообще за первый и второй день путешествия мы вполне привыкли друг к другу, и нам с Виктором удалось как следует рассмотреть мамонта.

Интересно, что он почти совсем не был похож на слона. Все крупные животные в Индии и в Африке – слон, носорог, бегемот – голые. Это делает их какими-то чужими для взгляда северянина. А этот зарос густой рыжеватой шерстью, мохнатый, лохматый – наш, северный, сибирский зверь. Пожалуй, больше всего он походил на какого-то немыслимых размеров медведя, только с хоботом и бивнями.

И совсем особый вид придавала ему грива – длинные седые космы, которые начинались на спине и бахромой висели под брюхом. По этой седине мы решили, что мамонт очень стар.

Когда я стоял рядом с ним, то из-за его огромных размеров казалось, что ты находишься возле какой-то стены, завешанной грубым, жестким мехом. И глаз, который подозрительно глядел на тебя издали, представлялся принадлежащим совсем другому существу.

Но это впечатление пропадало, когда мы с Виктором смотрели на него издали. Тогда он выглядел вполне компактным, собранным и очень гармонировал с полутундровым пейзажем – с мелким леском, кустарником, снежными сугробами и серым низким небом.

Глядя, как он обламывает елки, я вспомнил, что в первый день, когда я вышел на равнину к горе, там были такие же деревья с обломанными верхушками. Но тогда я не обратил на это внимания.

Кстати, мамонту не нравилось, если я подходил к нему сзади. Это было единственное, чего он не любил. Тотчас шерсть на спине приподнималась, и он поворачивался ко мне боком.

Один раз я сломал молоденькую еловую ветку и подал ему. Он ее подержал и бросил.

На самом конце хобота у него был отросток, напоминающий палец.

Вечером второго дня, когда мы развели костер, мамонт снова подошел к нам и грел над огнем хобот.

Конечно, это была удивительная картина: мы двое на расстеленном парашюте, поджаривающие куски лосиного мяса, и над нами мамонт, который качает хоботом, – огромная, заросшая мехом махина, живой делегат Природы, Вечности, первобытного доисторического прошлого.

Странно, но мы как-то очень уютно и покойно чувствовали себя в тайге. По всей вероятности, присутствие этой огромной глыбы жизни казалось нам гарантией того, что мы и сами не погибнем здесь, в долине.

У Виктора перестала болеть нога – как-то умялась в самодельных лубках. И мы все время рассуждали о том, как доберемся до Акона, сообщим о мамонте в Москву, в Академию наук, и вернемся сюда с большой экспедицией...

К ночи погода испортилась. Вечер был очень теплым – необычайно теплым для этого времени года, – но вдруг резко похолодало. Начался ветер, через сугробы потянулись струи поземки, костер стало задувать.

И мамонт тоже беспокоился. Он тревожно топтался, несколько раз поднимал хобот вверх, припнувшись к чему-то. Маленькие уши оттопырились.

Потом вдруг в монотонный вой ветра вплелся низкий долгий звук. Опять как гудок далекого парохода. Мы даже не сразу поняли, что это такое. Низкий печальный звук, возникший где-то далеко за окружавшими нас освещенными костром елками, во мраке, за сугробами и холмами заброшенного края.

– Мамонт! – первым догадался Виктор. – Понимаешь, другой мамонт. Где-то там.

Я вскочил. И Виктор тоже приподнялся, опираясь на локти.

Мы оба почему-то считали, что наш мамонт – единственный оставшийся на земле. Очевидно, оттого, что он казался нам очень древним.

Теперь выходило, что он не один в долине. Может быть, целое стадо.

Наш мамонт тоже услышал призыв своего собрата. Он поднял хобот, задрал его к небу и испустил ответный длительный рев. Он волновался, кивал головой, раскачивался, переступал передними ногами, один раз чуть не угодил в костер.

Снова издали раскатился пароходный гудок.

Мамонт неуклюже попятился от костра, повернулся и, ломая ветки, пошел в лес, в темноту. Некоторое время до нас доносился шум его движения, потом это стихло.

И тогда мы с товарищем переглянулись и двинулись вслед за ним. У нас уже было к этому времени приготовлено из веток что-то вроде саней. Я впрягся и потащил Виктора.

Теперь мне опять-таки трудно объяснить себе логически, почему мы не стали дожидаться утра. Скорее всего, считали, что там, вдали, куда ушел наш мамонт, должно случиться что-то важное, чему нам надо быть свидетелями. Может быть, бой исполинов, может быть, что-то другое.

Это была трудная ночь. Ветер быстро усилился и превратился в бурю. Откуда-то из темноты вырывались и летели навстречу струи снега, слепили глаза и резали щеки и лоб. Кругом все кипело, стонало, выло. Казалось, будто весь мир взбесился, двинулся с места, пустился в какую-то сумасшедшую пляску и нигде на земле уже не может быть покойного, защищенного от ветра теплого местечка.

Я думаю, что нас спасло в эту бурю как раз то, что мы двигались. Останься мы у костра, нас занесло бы снегом.

Ветер свистел и выл, и сквозь этот свист все время доносился рев мамонтов, тревожащий и печальный. Оттого, что он так походил на гудок парохода или даже заводской гудок, казалось,

что где-то вдалеке происходит кораблекрушение, наводнение, какая-то огромная катастрофа и эти настойчивые звуки все просят и просят о помощи.

Несмотря на темноту, глубокие следы мамонта были видны хорошо, хотя их довольно быстро заносило снегом.

В конце концов мы поняли, что должны двигаться, просто чтобы не замерзнуть. Я падал, вставал и снова падал. Виктор помогал мне, отталкиваясь большим суком, и так мы тащились и тащились и через несколько часов из мелколесья выбились на равнину.

Она и сейчас стоит у меня перед глазами. Взбаламученное непогодой движущееся снежное море.

Следы здесь кончились, их совсем замело.

Буря начала стихать, осталась только поземка, которая не выше пояса все змеила и змеила белые струи. Небо быстро очистилось, из-за тучи вдруг низко выглянула луна, осветила синие снега, холмы вдали и равнину с черными перелесками.

А рев мамонта донесся откуда-то совсем близко.

Всматриваясь, мы увидели впереди, метрах в тридцати, какую-то темную массу. Из-за неверного лунного света, из-за поземки она представлялась то движущейся, то стоящей неподвижно.

Я взял сани с Виктором и потащил их.

Даже и теперь мне больно рассказывать о том, что было дальше.

Все ближе и ближе мы подходили, с трудом преодолевая каждый метр и увязая в сыпучем снегу.

Впереди был мамонт, но какой-то уменьшившийся, низкий. Мелькал хобот, но и он был странный, как бы раздвоенный. Шла какая-то борьба, и еще метров за десять мы услышали тяжелое дыхание зверя.

Я подтащил Виктора еще ближе. Странно, но мы совсем не испытывали страха. Только какую-то настойчивую тревогу.

Это был наш мамонт. Он провалился в снег больше чем на половину роста, выше брюха. Снаружи были морда с хоботом, клыки, плечи, спина со встопорщившейся шерстью. Сначала я подумал, что он просто старается выбраться из снега, но это было не так. Очень скоро мы с Виктором разглядели, что рядом с нашим мамонтом темнеет спина еще какого-то огромного животного.

Бой? Схватка?

Нет, это оказалось не схваткой. Второе животное тоже было мамонтом, но без клыков. Очевидно, самкой. Она провалилась еще глубже самца – могучие плечи были уже вровень с поверхностью снега.

Звери не дрались, хотя их хоботы все время сталкивались и переплетались. Казалось, гиганты заняты какой-то общей работой – стараются выгрести снег, который поземка все насыпала и насыпала между ними.

Я подобрался совсем близко, так что пар от дыхания зверей касался лица.

Они выгребали не снег. Меня вдруг ударило по сердцу. Там, в снежной яме, между двумя огромными телами, было еще одно, меньше. Детеныш, которого они пытались вытащить, с каждым движением сами увязая все глубже.

Рядом с нами погибала последняя, может быть, семья мамонтов на нашей планете.

По всей вероятности, первым попал в яму маленький. Самка хотела его вытащить и тоже начала увязать. Тогда она позвала на помощь. А теперь здесь погибал и наш мамонт.

Позже, месяца через два, мы с Виктором много раздумывали о том, как это случилось. Сначала решили, что семья исполинов просто провалилась в какую-нибудь яму или овраг. Но потом мы поняли, что дело обстояло сложнее. Веками обитавшие в замкнутой долине мамонты, вероятно, знали ее достаточно хорошо и, будучи умными и осторожными живот-

ными, не попались бы в ловушку. Пожалуй, дело в том, что весь этот край десятки тысячелетий назад был зоной распространения ледника. Потом ледник отступил, оставив за собой в низких местах большие массивы льда. На этот лед с гор и холмов скатывались камни и почва. За сотни и тысячи лет образовался слой, на котором выросли трава, кусты, даже деревья. Но под ними весенняя вода вымывала во льду предательские пустоты. Скорее всего, подземная пещера и сейчас была причиной трагедии...

Между тем рядом с нами разворачивалась именно трагедия.

Примерно через час самка погрузилась уже настолько, что лишь ее хобот иногда высывался из ямы. Детеныш был совсем засыпан, и теперь злобный ветер катил целые снежные волны на взрослых животных. (После я никогда не видел, чтобы снег передвигался с такой быстротой. Стоило остановиться на минуту спиной к ветру, и сзади вырастал сугроб до пояса.) Самец бросил свои попытки откопать маленького и принялся бешено отгребать снег со спины своей подруги. Но она просто на глазах уходила в землю. Ветер был сильнее даже этого исполнения, мамонт ничего не мог сделать.

Время от времени он вытягивал хобот и выпускал все тот же тоскливый, хриплый, режущий сердце рев.

Не знаю, что только мы с Виктором не передумали в эту ночь.

Бесконечная безлюдная равнина, освещенная лунным светом. Скучный северный лес. Воющий ветер. Тучи, бегущие по низкому небу, то и дело закрывающие луну. Что-то заброшенное, свербящее душу, одинокое, дикое...

И кругом ни души, кроме нас и семьи мамонтов, которые тяжело дышали и старались спасти своего детеныша и самих себя.

Казалось, будто все это происходит в доисторическом, первобытном мире, когда первый человек и мамонт равно вели отчаянную беспощадную борьбу за жизнь с суровой природой и между собой.

Понимаете, потом, опять-таки уже гораздо позже, в госпитале, я много думал о том, почему мамонты исчезли с лица земли. Считается, что они вымерли сами собой. Но мне представляется, что это не так. Я думаю, их истребил первобытный человек. Всех до одного, до последнего. И мясо огромных животных помогло ему пережить невероятно трудную, жестокую эпоху обледенения. Быть может, без этого мяса человек не перебил бы и исчез так же, как исчезли шерстистый носорог, гигантский олень и другие вымершие формы. Первобытное стадо людей преследовало стада мамонтов, пока не уничтожило всех. Ведь мамонт не такой зверь, который может скрыться в лесной чаще или в степи замести следы.

Возможно, конечно, что все это и не так. Но в ту ночь нам с Виктором казалось, что этот едва ли не последний гигант, чудом укрывшийся от людей в замкнутой долине дикого, неисследованного края, зовет теперь нас на помощь. Он признал победу человека, согласился, что люди сильнее его, и теперь, когда всемогущему человеку уже нет нужды так неразумно истреблять другие создания природы, просит оставить ему жизнь. Как младший брат человека, он просит спасти его.

Конечно, все это было выдуманно, но я думаю, что в такую ночь на нашем месте каждому пришлось бы в голову что-то похожее.

Тем более что мамонты видели нас. Наш мамонт протягивал ко мне хобот, когда я подходил близко.

Но что можно было сделать? Кругом лежала снежная бесконечная равнина, помощи неоткуда было взять, а у нас одних не было сил вытащить гигантов из снежной топи. (Все равно как ожидать от человека, чтобы он руками поднял дом.)

Да и мы были тоже на краю гибели. Мне приходилось постоянно откапывать Виктора, и я почти плавал вокруг мамонтов по грудь в жидком снегу...

Часа через два после того, как мы добрались до зверей, самку окончательно поглотил снег, а у самца только голова оставалась на поверхности. Был момент, когда мамонт сделал какое-то титаническое усилие, почти что стал на задние ноги. Он высунулся из ямы по плечи, но затем сразу увяз еще глубже.

Начало рассветать. Были ясно видны его глаза, налитые кровью. Он протянул хобот и испустил последний отчаянный хриплый рев.

Этого уже просто было не вынести. Мы с Виктором двинулись прочь. Прочь, подгоняемые ветром, сами не зная куда.

Я тащил его не знаю сколько времени. Было светло, и мы увидели, что каменная гряда далеко впереди прерывается узким ущельем.

Это был выход из долины, который я искал два первых дня...

Полковник замолчал, и в купе стало тихо. За окном неслись ели и сосны сибирского леса. Проводник в коридоре, позванивая ложечками, разносил чай.

– А что дальше? – спросил инженер, тот, который рассказывал об ихтиозавре. – Как вы сами спаслись?

– Как сами? – Полковник закуривал. – Сами просто шли. Это уже другая история – как двое летчиков спаслись в тайге. Шли по компасу. Двадцать дней, пока на нас не натолкнулись якуты-охотники. Последняя неделя как-то исчезла у меня из памяти. Знаю, что мы с Виктором были похожи на привидения. Израненные, ободранные, голодные. Помню, Виктор все время просил меня, чтобы я оставил его и спасся хотя бы один. Помню, что я оставил его и шел какое-то время один. Шел и мучился и проклинал себя. Потом решил, что должен вернуться, и повернул было обратно, но тут же оказалось, что я вовсе не оставил его, а продолжаю тащить за собой. Потом это превратилось в навязчивую идею. Мне все казалось, что я бросил Виктора... Позже рассказывали, что в госпитале меня никак не могли от него оторвать. Я в него просто-таки вцепился...

– А с мамонтами? Неужели вы все так и оставили с мамонтами? – спросил геолог, старик, который двадцать лет назад предсказал, что медь должна быть в Сибири как раз в том месте, где ее только что нашли.

– С мамонтами было сложнее. – Полковник усмехнулся. – Понимаете, Виктор поправился раньше и выписался. А я довольно долго был в тяжелом состоянии. И вот, когда встал, первым делом отправился к главврачу. Принялся было рассказывать, но кончить не пришлось. Он тотчас вызвал женщину, оказавшуюся психиатром, и оба стали меня успокаивать: «Ничего, ничего. Вы отдохнете, и все пройдет. Старайтесь не думать о мамонтах. У вашего друга тоже было, но теперь ему гораздо лучше». Я вспылil, те двое переглянулись, покачали головами. Понял, что лучше все отложить до выписки. Но и тогда не пришлось нам заняться мамонтами.

– Почему?

– Я вышел из госпиталя, у дверей меня встречал Виктор. Но это было двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок первого года. Настало время других забот.

– Миддендорф, знаменитый путешественник, был совершенно убежден, что в Сибири должны быть живые мамонты, – сказал геолог. – Это был друг академика Бэра, и он много лет потратил, чтобы подтвердить свою теорию. А у другого русского путешественника и охотника, у Семеновского, в дневнике есть запись, что он и его люди видели на Енисее плывущего мамонта. При жизни Семеновский не публиковал этой записи. Боялся, не поверят.

– А может быть, они видели кита, – сказал инженер. – Киты иногда заплывают в Енисей. Я об этом читал.

– Они видели хобот и бивни, – возразил геолог.

– Ладно, – сказал полковник. – Все это скоро будет разрешено. Дело в том... Дело в том, что сейчас я еду в Акон. Принять участие в экспедиции Академии наук. У нас уже совсем дру-

гое оборудование и совсем другие самолеты. Теперь это будет не случайность, не катастрофа... Жаль только, Виктора нет.

– А где он?

– Под Берлином. В тысяча девятьсот сорок пятом году. В последние дни войны...

– Знаете, – сказал геолог после паузы, – мне очень понравилось, как вы говорили. Что мамонт казался вам младшим братом человека. Это очень верно. Конечно, было время, когда люди не глядя уничтожали все без разбора. Но теперь человечество выросло из этого возраста. Ему не нужна первобытная жестокость. Естественно, мы и сейчас режем крупный и мелкий скот. Но мы же его и разводим. А в будущем человек и вовсе перестанет нуждаться в животной пище. Научится другими способами добывать необходимые ему белки. И вообще не будет уничтожать живую разумную жизнь на земле. Только регулировать ее. Ведь земля без зверья была бы очень голой, пустой. Человек должен сохранять всех своих младших братьев – птиц, зверей...

– А знаете, – прервал его полковник, – мне теперь кажется, что и та семья мамонтов не погибла. Буря тогда вскоре кончилась, животные могли утоптать как-то снег под собой и в конце концов выкарабкаться из ямы. Даже в течение нескольких дней... Не говоря уж о том, что это могла быть и не единственная семья мамонтов в долине.

Шаги в неизвестное

Разговор на взморье

– Иногда мне кажется, что все это было только сном, – задумчиво сказал инженер, потирая лоб. – Хотя, вместе с тем, я прекрасно знаю, что не спал тогда... Да что там говорить! Уже ведутся научные изыскания. Создана группа. И тем не менее...

Он усмехнулся, а я насторожился.

– Дело в том, что обычно мы считаем, будто ритм, в котором мы живем, и есть единственно возможный ритм. Между тем это не совсем так. Улавливаете мою мысль?

В ответ я пробормотал что-то насчет теории относительности. Правда, я представлял ее себе не вполне ясно...

Инженер улыбнулся:

– Пожалуй, я имел в виду не совсем это. Попробуйте представить себе, что получилось бы, если бы мы начали жить быстрее. Не двигаться быстрее, а именно жить. Живые существа на земле двигаются с разной скоростью – от нескольких миллиметров в час до нескольких десятков километров. В Шотландии, кажется, есть муха, которая летает со скоростью самолета. Но я говорю не об этом. Не двигаться быстрее, а жить.

– Но ведь многие живые существа и живут гораздо быстрее человека, – сказал я, стараясь вспомнить то, что в школе учил по биологии. – Простейшие, например. Парамеции, по-моему, живут всего двадцать четыре часа. Некоторые жгутиковые и того меньше.

Мой собеседник покачал головой.

– Просто они живут короче, чем мы. Но не быстрее. – Он подумал. – Наверно, вам будет трудно понять, о чем я говорю... Вы ничего не слышали о событиях в районе Лебяжьего в этом году?

– Еще бы! В Ленинграде очень много об этом говорили примерно месяц назад. Но никто толком ничего не знает. Рассказывают чуть ли не о привидениях. О девочке, которую какой-то невидимка не то бросил под поезд, не то вытащил оттуда. И еще о краже в магазине... А вы об этом что-нибудь знаете?

– Конечно. Я и был одним из этих привидений.

– ???

– Если хотите, расскажу.

– Конечно хочу! – воскликнул я. – Еще бы! Давайте прямо сейчас!..

Разговор происходил на Рижском взморье, в Дубултах, одном из маленьких курортных городков в полчасе езды от Риги.

Я жил там в доме отдыха весь сентябрь и быстро перезнакомился со всеми обитателями особнячка на самом берегу моря. Только об одном отдыхающем, рослом худощавом блондине, я знал очень мало. Это было тем более странно, что после первой встречи мы оба почувствовали какую-то взаимную симпатию.

И я и он любили рано утром, часа за два до завтрака, прогуливаться по совершенно безлюдному в это время пляжу. Коростылев – такова была фамилия блондина – вставал раньше и отправлялся пешком по направлению к Булдури. Когда я выходил на берег, он уже поворачивал обратно. Мы встречались на пустом и казавшемся каким-то покинутым пляже, раскланивались, улыбались друг другу и продолжали свой путь.

Казалось, у каждого из нас после этой встречи оставалось такое впечатление, что нам было бы очень интересно остановиться и поговорить.

Однажды утром, выйдя на берег, я застал Коростылева за какими-то странными действиями. Инженер сидел на скамье, затем опустился на корточки и стал водить пальцем по песку. Лицо у него при этом было очень озабоченное. Но, сделав так несколько раз, он успокоился. Потом он увидел летящую бабочку и тоже повел рукой в воздухе, как бы провожая ее. И наконец, несколько раз подпрыгнул.

Я кашлянул, чтобы показать Коростылеву, что он не один на берегу. Тот посмотрел в мою сторону, наши взгляды встретились, и мы оба немного смутились.

Коростылев махнул рукой и засмеялся:

– Идите сюда. Не подумайте, что я сошел с ума.

Я подошел, и между нами завязался разговор, в ходе которого была рассказана история недавних событий на Финском заливе.

Коростылев начинает свой рассказ. Первый час в изменившемся мире

...Надо вам прежде всего сказать, что по профессии я инженер-теплотехник. Я окончил аспирантуру и защитил диссертацию при Московском политехническом институте, но все равно я скорее практик, чем теоретик. Поэтому для меня особенно много необъяснимого в том, что со мной недавно происходило.

Моя более узкая специальность – паротурбинное оборудование для солнечных электростанций. Вместе с семьей я живу на берегу Финского залива, в лесной местности. Работаю в научно-исследовательском институте, который базируется на небольшой солнечной электростанции исключительно экспериментального значения. Здесь же помещается и поселок, где мы все живем. Наш коттедж с небольшим садом – крайний на улице, по которой проходит дорога, соединяющая приморское шоссе со станцией электрички. Собственно говоря, эта дорога и есть единственная улица поселка.

Напротив нашего дома – дача моего приятеля, доцента Мохова. Он тоже сотрудник института. Рядом с ней – продуктовый магазин или, вернее, ларек, где мы покупаем продукты.

Между задними окнами моего коттеджа и территорией СЭС никаких построек уже нет. Здесь стоит низкорослый молодой лесок, который во время строительства так и сохранили нетронутым...

Это было воскресенье двадцать пятого июня. Накануне вечером жена и двое моих мальчишек отправились в Ленинград смотреть новый индийский фильм. Звали меня, но я намеревался поработать дома.

Мы договорились с Аней, что она оставит ребят на воскресенье у бабушки, а сама вернется утром десятичасовым поездом.

Я подвез жену и детей до станции электрички, поставил машину в гараж и сел за свой рабочий стол.

Засиделся я за ним довольно долго. Друзья звонили по телефону, приглашали слушать новые долгоиграющие пластинки, но мне хотелось закончить один расчет, и я не стал выходить.

Около двенадцати ночи началась гроза. Я люблю смотреть, как сверкает молния, и поэтому, поднявшись из-за стола, подошел к окну и отдернул занавеску. Помню, что гроза была сильная. Ливень хлестал по веткам деревьев в саду так, что они гнулись, а на крыше струи дождя производили впечатление отдаленной канонады. Окно кабинета выходит как раз на электростанцию, и я несколько раз видел, как верхушки лип за оградой и крыша здания, где помещается реактор, освещались мгновенным синим светом.

Затем в поле моего зрения появился синеватый вздрагивающий шар объемом с маленький арбуз, полупрозрачный, фосфорически светящийся. Он возник где-то слева от дома, в

чаще деревьев. В нем было какое-то отдаленное сходство с медузой, когда это животное всплывает из морской глубины.

Я первый раз в жизни видел это явление.

Шар проплыл мимо веранды так близко, что, казалось, он неминуемо заденет ее, и полетел к постройкам электростанции. Я следил за его полетом, что было очень легко, так как цвет его к этому времени изменился и стал ярко-желтым, как вынутое из вагранки железо. Он ударился о крышу здания реактора, подскочил от толчка, ударился еще раз и не то чтобы взорвался или лопнул, а как-то утек в крышу.

Я испугался, что там начнется пожар, и поэтому выбежал на крыльцо и обогнул дом, чтобы посмотреть, не угрожает ли электростанции какая-либо опасность. Но на крыше главного здания, которая была мне хорошо видна из сада, не замечалось никаких признаков огня. Повсюду было тихо. Косые линии дождя продолжали хлестать по траве и по деревьям. Простояв с полминуты у стены дома и промокнув, я вернулся в кабинет.

Было уже поздно. Я лег спать, и после этого, утром, началось то, о чем я буду рассказывать.

Проснулся я около восьми часов и удивился тому, что спал так долго. Обычно у нас встают в шесть.

Гроза ночью кончилась. В окно мне были видны кусочек голубого неба и ветка липы, стоящей в саду у самого дома. Глядя на нее, я порадовался тому, что день был безветренный – листья висели совершенно неподвижно.

Вскоре я ощутил, что во всей обстановке комнаты было что-то необычное. Прежде всего, до моего слуха постоянно доносились какие-то странные звуки. Как будто неподалеку кто-то перекладывал с места на место большие листы бумаги.

Прерывистый шорох, который временами становился тише, а затем опять усиливался.

Потом я понял, что не слышу привычного отчетливого тиканья больших старинных часов, доставшихся мне от деда. Часы эти ни разу на моей памяти не останавливались, и мысль о том, что они испортились, была для меня очень неприятной.

Я вскочил с постели и как был, в пижаме, подошел к окну, которое выходит не в сад, а на залив.

Отдернув штору, я бросил мимолетный взгляд на берег и асфальтированное шоссе, повернулся и пошел к часам. От того, что я увидел, у меня осталось какое-то тревожное впечатление. Волна, набегающая на песчаный пляж, два пешехода на обочине дороги, мотоцикл, мчавшийся по асфальту, – все было как обычно, и в то же время во всем ощущалась какая-то странность.

Подойдя к часам – это был старинный швейцарский механизм, заключенный в резной дубовый шкафчик, – я открыл дверцу, чтобы посмотреть, что же с ними стряслось. Я открыл дверцу... и замер.

Вы понимаете, что я увидел! Маятник на длинном и толстом бронзовом стержне не висел вертикально. Он был отклонен влево, то есть находился в наиболее удаленном от равновесия положении!

Помню, что в детстве, двенадцатилетним мальчишкой, я часто мечтал о том, чтобы сделать какое-нибудь чудо. Например, подпрыгнуть и не опуститься сразу на землю, а повиснуть в воздухе. И я прыгал десятки раз, прыгал до изнеможения, но сразу же исправно падал на землю в полном соответствии с законом всемирного тяготения. Но неудачи не мешали мне мечтать. Я представлял себе, что если не сегодня, так завтра я вдруг сумею избавиться от сковывающей меня силы тяжести и тогда... Тогда фантазия разыгрывалась совершенно безудержно. Я уже парил над землей, перелетал границы, помогал революционерам бороться с жандармами, освобождал из тюрем узников капитала и вообще совершенно переделывал мир.

Каждый из нас в детстве мечтал о каких-нибудь чудесных крыльях, о шапке-невидимке или еще о чем-нибудь подобном.

И вот теперь я увидел осуществившимся мое мальчишеское чудо. Маятник наших часов был освобожден от силы тяжести. Его не притягивала масса земли. Он парил в воздухе.

Не знаю, как вел бы себя на моем месте кто-нибудь другой, я же был совершенно ошарашен, подавлен и с полминуты, наверно, продолжал смотреть на маятник. Потом я встряхнул головой и протер глаза.

Часы не шли, а маятник находился в крайнем левом положении. Это было невероятно, но это было так.

Я рассеянно глянул в окно, и то, что я там увидел, заставило меня вздрогнуть.

Пейзаж ни на йоту не изменился за то время, пока я смотрел на маятник. Все та же волна катила на берег – я запомнил ее по кипящему, завернувшемуся вниз гребню, – два пешехода были на дороге в том положении, в каком их застиг тогда мой мимолетный взгляд, и мотоциклист оставался на том же самом месте.

Помню, что больше всего меня поразил мотоцикл. Это был «Иж-49», и шел он на скорости не меньше чем пятьдесят километров – я видел это по синеватому выхлопному дымку, отброшенному на порядочное расстояние от глушителя. Мотоцикл мчался и в то же время стоял. Стоял и не падал набок опять-таки в полном несогласии с законами равновесия.

Я тогда решил, что я сплю и все это мне просто снится. Я ущипнул себе левую руку и вскрикнул от боли. Нет, я не спал.

«Забавно!» – сказал я себе, хотя мне было совсем не забавно, а даже страшно.

Я еще раз оглядел комнату и посмотрел в окно.

– Я инженер Коростылев, – сказал я вслух. – Меня зовут Василий Петрович, мне тридцать пять лет, и сегодня воскресенье, двадцать пятое июня.

Нет, я не сошел с ума. Я был в здравом рассудке.

С замирающим от страха сердцем я вышел из комнаты, повернул в передней ключ и толкнул дверь, выходящую в сад. Она не поддавалась. Тогда я толкнул сильнее и нажал плечом.

Раздался треск, и сорванная с петель дверь упала на веранду.

Я остоленело посмотрел на нее. И дверь вела себя не так, как прежде.

Кстати, этот треск был первым нормальным звуком, дошедшим до моего слуха в то утро. Я понял, что, пока я находился в комнате, меня все время окутывало какое-то странное молчание, прерывавшееся только шорохом.

Не найдя никакого объяснения тому, что случилось с дверью, я пошел по дорожке к низенькому редкому забору, отделяющему наш сад от дороги. И тут опять началось странное. Когда я уже почти дошел до калитки, я почувствовал, что мне сейчас трудно будет остановиться. Было такое впечатление, будто меня несут вперед инерционные силы, какие испытываешь, например, когда сбегашь по крутой лестнице.

Я с трудом «затормозил» у забора и вышел на улицу.

Мирно стояли дачи нашего поселка. За заборчиками сушилось детское белье. От огромного царственного тополя в шатре светло-зеленых глянцевиных листьев, стоявшего возле дома Мохова, лился сильный свежий аромат. В чистом послегрозовом небе ярко светило утреннее солнце.

Судя по наклону травы и по тому, как гнулись ветви тополя, можно было предположить, что дует довольно сильный ветер. Да и волна на заливе тоже говорила о свежей погоде. Но я этого ветра не чувствовал. Мне было жарко.

Постояв некоторое время у калитки, я подошел к мотоциклисту.

Помню, что в то время, когда я приближался к нему, я начал слышать выхлопы мотора. Но не такие, как обычно, а в более низком тоне. Что-то вроде отдаленных раскатов грома. Но,

как только я остановился, эти звуки превратились в тот самый шорох, который меня озадачил в комнате.

Мотоциклист, загорелый скуластый парень, сидел в седле, чуть подавшись вперед и глядя на дорогу с тем сосредоточенным вниманием, которое вообще свойственно водителям транспорта. Меня он не замечал.

С ним все было в порядке, за исключением того, что он не двигался.

Я зачем-то дотронулся до цилиндра мотора и отдернул руку, потому что цилиндр был горячий.

Потом я сделал еще большую глупость: я попытался свалить мотоциклиста. Не знаю, почему мне это пришло в голову, – по-видимому, я считал, что, раз он не двигается, он должен упасть, а не стоять вопреки всем законам физики. Обими руками я уперся в заднее седло и не очень крепко нажал. Но, к счастью, из этой попытки ничего не вышло. Какая-то сила удерживала машину в том положении, в котором она была.

Впрочем, я особенно и не старался. Я был слишком растерян и подавлен.

Наверно, несколько минут прошло, прежде чем я заметил, что мотоцикл не совсем стоит на месте, а все же двигается, хотя и очень медленно. Я увидел это по заднему колесу.

К крышке пристал кусочек смолы, а к нему прилипла спичка. Пока я вертелся возле мотоцикла, эта спичка медленно переместилась снизу вверх.

Я присел на корточки и стал смотреть на колесо. Оно и сейчас стоит у меня перед глазами. Зеленый, густо покрытый пылью обод, чуть заржавевшие спицы, старая, потрескавшаяся крышка.

Я долго смотрел на колесо, как будто в нем была разгадка того, что случилось со всем миром.

Потом я встал и принялся разглядывать водителя. Обошел мотоцикл и стал впереди него на расстоянии полуметра от переднего колеса. Парень меня не видел.

Я наклонился и крикнул ему в ухо:

– Эй, послушайте!

Он не слышал меня.

Я взмахнул рукой перед самыми его глазами. Это тоже не произвело на него никакого впечатления. Я просто не существовал для него.

Переднее колесо подошло наконец ко мне – оно двигалось со скоростью примерно одного сантиметра в секунду – и уперлось в мое колено. Сначала слабо, затем все сильнее и сильнее оно давило на меня, и мне пришлось отступить.

Потом, совершенно ошеломленный, я побрел к двум пешеходам.

Тут я заметил, что, как только я начинаю двигаться, сразу возникает довольно сильный ветер, а когда я останавливаюсь, он прекращается. По всей вероятности, так было и раньше, но я не обратил на это внимания.

Пешеходы – молодая черноволосая женщина и пожилой мужчина с рюкзаком за плечами – стояли метрах в пятидесяти от мотоцикла. Впрочем, тоже не совсем стояли, а шли, но шли страшно медленно.

На то, чтобы сделать по одному шагу, им нужно было две или три минуты. Бесконечно медленно оставшаяся позади нога отделялась от асфальта и начинала передвигаться вперед. Бесконечно медленно перемещалось тело, и центр тяжести переходил на другую ногу. За то время, пока совершался этот шаг, я мог обойти их кругом восемь или десять раз.

По-моему, это были отец и его взрослая дочь. Мне показалось, что я их знаю – они жили километрах в пяти от поселка, в отдельно стоящей даче, и приходили к нам за продуктами.

И они тоже не выглядели чем-нибудь обеспокоенными. За то время, пока я был возле них, женщина повернула голову и стала смотреть в сторону от мужчины.

Помню, что я несколько раз обходил их кругом, пробовал им что-то говорить и даже дотрагивался до руки мужчины.

Один раз я сел на обочину очень близко к женщине и просидел так минут пять или десять. Мне показалось, что она меня наконец заметила. Во всяком случае, она начала медленно-медленно поворачивать голову в том направлении, где я сидел, и позже, когда я уже поднялся и отошел, ее голова была еще долго повернута туда. Она смотрела на то место, где меня уже не было, и потом на лице у нее начало выражаться легкое недоумение. Чуть-чуть приподнялись брови, и чуть-чуть округлились глаза.

Она была хорошенькая и очень походила на манекен в магазине готового платья. Особенно из-за этого удивленного выражения.

Потом я медленно пошел на пляж, сжимая голову руками.

«Что это могло означать? – спрашивал я себя. – Может быть, какая-то новая бомба взорвалась над курортным районом? Может быть, наша планета пролетела через какой-то сгусток космической материи, который остановил или замедлил все на земле? Но почему же тогда я остался таким же, как прежде? Может быть, я брежу или просто сплю?»

Но я мыслил вполне логично и ни в коем случае не спал. Палец, который я обжег о цилиндр мотоцикла, саднило, и на нем уже образовался водяной пузырик. Да и вообще все кругом было слишком реальным, чтобы быть сном.

В состоянии сна или бреда – в эфемерном, кажущемся мире – человеку бывает доступно далеко не все. Иногда он не может, например, убежать от того, кто за ним гонится: иногда, наоборот, не в состоянии догнать того, кого он сам преследует. Всегда есть какие-то ограничения. А тут все было просто и естественно. Я стоял на берегу залива, позади был мой дом – при желании я мог оглянуться и увидеть его. Я мог сесть и мог встать, мог протянуть руку и опустить ее. Меня никто не преследовал, и я сам ни за кем не гнался.

И тем не менее я был единственным двигающимся человеком в остановившемся, застывшем мире. Как будто я попал на экран замедленного кинофильма.

Я подошел к воде и с размаху ударил ногой неподвижную волну. Наверно, в моем положении было очень глупо проделывать такой опыт. Я ведь был в домашних туфлях. Мне показалось, что я ударил по каменной стене. Я взвыл, подскочил и завертелся на одной ноге, схватившись за носок другой.

Вода тоже стала не такой, как прежде.

Не помню точно, что я делал после этого. Кажется, метался по берегу, выкрикивая какие-то бессмысленные слова, требуя, чтобы «это» прекратилось, чтобы все сделалось таким, как было. Пожалуй, это был самый трудный момент для меня, и во время этого припадка отчаяния я действительно был близок к тому, чтобы сойти с ума.

Потом я обессилел и, усталый, свалился на песок у самой воды. Ближайшая волна бесконечно медленно шла ко мне. Я тупо смотрел на нее, неподвижно сидя на мокром песке. Медленно-медленно, как расплавленное стекло, она подкатила ко мне – было страшно видеть, как она приближается, – и захватила ступни, колени и бедра. Минут десять, наверно, прошло, пока мои бедра оказались в воде, нервы мои опять напряглись, и я чуть не закричал.

Но все окончилось благополучно. Волна схлынула минут через пять, и я остался сидеть в мокрой пижаме.

Потом я почувствовал, что все эти чудеса просто надоели и опротивели мне. То, что случилось, было совершенно необъяснимо – во всяком случае, необъяснимо для меня в тот момент – и поэтому очень противно.

Я поднялся и побрел домой. Мне хотелось укрыться от неподвижных людей в поселке. У меня была тайная надежда, что если я засну, то через некоторое время опять проснусь в мире, который стал движущимся и нормальным.

– Но позвольте, – прервал я инженера, – когда все это было?

– Двадцать пятого июня этого года.

– Значит, все это вам показалось?

– Нет, не показалось. Все так и было.

– Но ведь я тоже помню двадцать пятое июня. – Я недоверчиво пожал плечами. – Я помню этот день, и многие другие помнят. Может быть, это коснулось только вашего поселка? Но и тогда такое положение не прошло бы незамеченным. Об этом все говорили бы. Что-нибудь появилось бы в газетах.

Инженер покачал головой:

– Только я один и мог это заметить. Но слушайте дальше.

Инженер встречается незнакомца

В нашем саду, справа от калитки, если идти к дому, стоят несколько густых кустов жасмина. В этой заросли спрятана большая будка для собаки. Один мой приятель, уезжая в командировку, оставил у нас на лето немецкую овчарку. Для этого пса мы построили будку, а потом наш знакомый, вернувшись, взял свою овчарку, и будка осталась пустовать.

Весной и летом сыновья используют ее для игры в индейцев.

Сейчас, идя по дорожке домой, я вдруг увидел, что из будки торчат чьи-то ноги в больших стоптанных и заляпанных сырой землей ботинках.

Как и все владельцы дач, я не люблю, когда в наш сад без спроса заходят незнакомые. Кроме того, я был поражен странной позой этого человека и с удивлением спросил себя, что он может делать там, в будке.

По-моему, я на мгновение даже забыл обо всех невероятных происшествиях этого дня.

Я подошел к кустам и стал смотреть на эти ноги.

И вдруг я услышал человеческий голос. В первый раз за все утро в странном, ни на минуту не прекращающемся шорохе прозвучали настоящие человеческие слова.

– Не надо... Не надо, – бормотал незнакомец.

Потом послышалось несколько ругательств, и опять то же самое:

– Не надо...

– Послушайте, – сказал я, – вылезайте! Вылезайте скорее!

Ноги дернулись, и незнакомец замолчал.

Я присел на корточки и потянул его за ботинок со словами:

– Ну, вылезайте скорее. Вы еще не знаете, что случилось!

Незнакомец лягнул меня и выругался.

Сгорая от нетерпения, я ухватил его ногу обеими руками, напряг все силы и вытащил мужчину из будки.

После этого мы некоторое время ошолбенело смотрели друг на друга. Он – лежа на спине, я – сидя возле него на корточках.

Это был плотный коренастый парень лет двадцати пяти или двадцати семи, с бледным, нездорового цвета лицом. У него был курносый нос и серые маленькие испуганные глаза.

Глядя на его могучие плечи, я удивился тому, что так легко вытащил его из будки. Наверно, ему там не за что было зацепиться.

– Послушайте, – сказал я наконец, – что-то такое случилось со всей землей. Понимаете?

Он приподнялся, сел на траве и боязливо посмотрел через редкий забор на шоссе. Отсюда, из сада, видны были неподвижные мужчина и женщина на дороге.

– Вот, – сказал он с испугом. – Смотри!

Затем он перевернулся на живот и попытался снова юркнуть в будку. Я его с трудом удержал.

После этого мы шепотом – не знаю, почему именно шепотом, стали разговаривать.

– Весь мир остановился, – прошептал я. – И этот странный шорох...

– И на велосипеде, – сказал парень. – Видел того типа на велосипеде?

– Какого типа?

– А там, одного. В майке. Я его свалил.

Выяснилось, что на тропинке, за дачей Мохова, он встретил велосипедиста, неподвижно стоявшего на месте, и сбросил его на землю.

– Зачем вы это сделали? – спросил я и сразу вспомнил, что сам тоже хотел свалить мотоцикл.

– А чего же он? – ответил незнакомец и выругался.

Некоторое время мы просидели возле будки, рассказывая друг другу, что каждый из нас видел.

– А где вы были, когда это все началось? – спросил я.

– Я?... Тут.

– Где – тут? В саду?

Он замялся.

– Нет... Там. – Он махнул рукой.

– Ну где же? На пляже?

Он показывал то в одну, то в другую сторону, и мне так и не удалось добиться, где же застигли его все эти чудеса.

– Значит, все это началось на рассвете, – сказал я.

– На рассвете, – согласился он и выругался.

Вообще он ругался почти при каждом слове, и вскоре я перестал это замечать.

– Ну ладно, – сказал я поднимаясь. – Давайте войдем в дом и съедем что-нибудь. А потом отправимся смотреть, что же произошло. Сходим в Глушково. Может быть, это захватило только наш поселок, а дальше все в порядке.

Я вдруг ощутил очень сильный голод.

Он тоже встал и неуверенно спросил:

– В какой дом?

– Да вот сюда.

Он боязливо огляделся:

– А если поймают?

– Кто поймает?

– Ну, этот... Который тут живет.

– Так здесь я и живу, – объяснил я. – Это наш дом.

На лице у него выразилось смущение. Затем он вдруг рассмеялся:

– Ладно. Пошли.

Все выглядело загадочно – и то, что он не хотел толком сказать мне, где он был ночью, и его неожиданный смех. Но тогда я был в таком состоянии, что не заметил этих странностей.

Пока мы жевали на кухне бутерброды и холодную баранину, он с уважением разглядывал холодильник «ЗиЛ», стиральную машину и стол для мытья посуды.

– Хорошо живешь, – сказал он мне. – Где работаешь?

Я ответил, что на заводе, и, в свою очередь, спросил, чем он занимается. Он сказал, что работает в совхозе «Глушково». Совхоз находится в восьми километрах от нашего поселка. Там в школе одно время учились мои ребята, и я знаю почти всех рабочих. Этого парня я там ни разу не видел, и поэтому мне показалось, что он соврал.

Когда мы выходили из дому, он угрюмо посмотрел вверх:

– И солнце тоже...

– Что – солнце? – спросил я.

– И солнце стоит. – Он показал на тень от дома на дорожке. – Как было, так и есть.

Дом наш поставлен так, что окно моего кабинета и окна детской комнаты выходят на юг, а входная дверь – на север. По утрам в летнее время около восьми часов, когда я иду на работу, тень крыши проходит через край клумбы с георгинами.

Сегодня, когда я первый раз вышел, чтобы посмотреть на неподвижного мотоциклиста, тень как раз достигла первого куста. Я автоматически отметил это, хотя был очень взволнован.

И сейчас край тени был на том же самом месте, хотя с тех пор прошло не меньше чем два часа.

Получалось, что солнце остановилось. Вернее, прекратилось вращение Земли вокруг оси.

Было от чего сойти с ума.

Помню, что мы некоторое время топтались, глядя то на солнце, то на неподвижный край тени.

Потом мы все-таки собрались в Глушково. Я вернулся в комнату, сбросил домашние туфли, надел сандалии, и мы пошли.

Даже не знаю, зачем нас туда понесло. По всей вероятности, потому, что нам было невыносимо сидеть на месте и ждать, что же с нами будет дальше. Хотелось как-то действовать.

Кроме того, мы просто не знали, чем же нам теперь заниматься.

Поход в Глушково. Начало разногласий

Это было странное путешествие.

Когда мы двинулись в путь и острота первых впечатлений от всех чудес несколько при-
тупилась, я начал замечать то, на что прежде не успел обратить внимание.

Во-первых, нам обоим было трудно делать первый шаг, когда начинали идти. Было такое чувство, как если бы мы делали этот шаг в воде или в какой-нибудь такой же плотной среде. Приходилось довольно сильно напрягать мускулы бедра. Но потом это исчезало, и мы шли уже нормально.

Во-вторых, при каждом шаге мы немножко повисали в воздухе. Опять-таки как если бы мы двигались в воде. Особенно это было заметно у меня, потому что я вообще обладаю подпрыгивающей походкой.

Я чувствовал, что со стороны напоминаю танцора в балете, который не идет, а совершает бесконечный ряд длинных и плавных прыжков.

Было похоже на то, что воздух стал плотнее. Казалось, в него налили какой-то густой состав, который оставил его как прежде прозрачным и пригодным для дыхания, но сделал гораздо гуще.

И наконец, ветер. Как только мы начинали двигаться, возникал сильный ветер, а когда мы останавливались, он мгновенно стихал...

Выйдя на шоссе, мы обогнали двух пешеходов – мужчину и женщину. Мой товарищ – его звали Жора Бухтин – обошел их стороной, даже спустившись для этого в канаву. Вообще первое время он очень боялся всех неподвижных фигур, попадавшихся нам на пути.

За последним коттеджем поселка я свернул с дороги и подошел к кусту ольховника, чтобы сорвать себе прутик на дорогу. Я взялся за довольно толстую ветку и дернул. Ветка отделилась так легко, будто она не росла из ствола, а была просто приклеена к нему каким-нибудь слабеньким канцелярским клеем.

Тогда я попробовал отломать сук молоденькой, рядом стоявшей липы, и он тоже сразу оказался у меня в руке. Как будто он только и ждал, чтобы я пришел и взял его с того места, на котором он рос.

И все другие ветки тоже отделялись от липы без малейшего сопротивления. Я не срывал их, а просто снимал со ствола.

Выходило, что мир не только остановился – он изменил свои физические качества. Воздух стал густым, а твердые тела потеряли прочность.

Я мог бы очистить это деревце от ветвей с такой же легкостью, с какой девушки срывают лепестки ромашки, повторяя: «Любит – не любит».

На тропинке, ведущей к совхозу – для сокращения пути мы пошли по тропинке, – нам встретился велосипедист, которого свалил Бухтин. Велосипед лежал на траве, а молодой паренек стоял рядом, взявшись за плечо рукой. На лице у него было выражение боли и недоумения.

Конечно, он не мог понять, какая сила сбросила его на землю.

Оставив велосипедиста, мы двинулись дальше.

Я увидел какую-то птичку в полете и остановился ее рассмотреть.

По-моему, это был щегол. Он висел в воздухе, потом делал медленный и довольно вялый взмах крылышками и несколько продвигался вперед. Вообще полет его представлял собой не плавные движения, а ряд коротких вялых рывков.

Можно было взять птичку в руки, но я побоялся ее искалечить.

За лесом начинались поля зеленой озимой пшеницы и сенокосные луга, где сильно и приятно пахло клевером. Тут мы вышли с тропинки на грунтовую дорогу. Я обратил внимание на то, что пыль, поднятая нашими ногами, висела в воздухе очень долго – так что мы даже не могли дожидаться, пока она уляжется.

Не стану описывать подробно все наше путешествие в Глушково. Оно было, в общем, совершенно безрезультатным. Просто пришли в совхоз и убедились, что там все обстоит так же, как в поселке.

Сначала мы шагали довольно быстро, потом у меня все сильнее начал болеть ушибленный о волну палец, и я захромал.

По воскресному времени в совхозе было совсем пусто. Ни возле механической мастерской, ни возле конторы мы не встретили ни одного человека. Только на скотном дворе у водокачки застыла какая-то фигура с ведром в руке.

Не знаю зачем, но мы пошли к школе. Здесь возле одной избы стоял директор совхоза Петр Ильич Иваненко, полный блондин, одетый в полотняные брюки и полотняный летний пиджак. Окно в избе было открыто, оттуда высунулась женщина в платке. Они о чем-то разговаривали.

Женщина взмахнула рукой – очевидно от чего-то отказываясь или что-то отрицая. Но, поскольку этот взмах был виден мне и моему спутнику как бесконечно долгий, нам со стороны казалось, что она хочет ударить Иваненко.

Это выглядело довольно смешно.

Петр Ильич застыл, широко открыв рот и подняв густые седеющие брови.

Жора, опасливо остановившийся в некотором отдалении от директора, показал на него пальцем:

– Обалдел!

– Почему – обалдел? – спросил я.

– А чего же он? – Жора кивнул в сторону Петра Ильича и разинул рот, передразнивая его.

Почему-то это меня разозлило.

– Вовсе он не обалдел, – сказал я. – Что-то случилось со всей землей. Какая-то катастрофа. Понимаете?

Жора молчал.

– Что-то такое произошло, отчего весь мир замедлился. А мы остались такими же, как были. Или, может быть, наоборот...

Я произнес это «наоборот» не думая и потом вдруг закусил губу.

А что, если в самом деле наоборот?

Какая-то смутная мысль, какая-то догадка забрезжила у меня в голове. Я прикинул скорость волны на заливе, скорость мотоцикла и, наконец, положение солнца на небе. Мир замедлил свое движение, но в этой замедленности была своя гармония. Солнце, движение воды, люди – все замедлилось пропорционально.

Я схватил Жору за руку и уселся на скамью у избы, заставив своего товарища сесть рядом. Потом я уставился на ручные часы, которые так и не снимал со вчерашнего вечера.

Целых пять минут – я считал по пульсу – я смотрел на секундную стрелку и наконец убедился, что она движется и что она прошла за это время одну секунду.

Секунда, и моих, хотя и приблизительных, пять минут!

И за эту секунду женщина, спорившая с директором совхоза, опустила руку, а Петр Ильич закрыл рот.

Выходило, что мир замедлился в триста раз. Или мы, наоборот, ускорились в той же пропорции.

Но на лице Петра Ильича, на лицах всех тех людей, кого мы видели с утра, не было никакого беспокойства. Никто из них не выглядел удивленным, испуганным, озадаченным. Все мирно занимались своими делами.

Значит, что-то странное и необъяснимое произошло с нами, а не с тем, что нас окружало.

При этой мысли я испытал немалое облегчение. Все-таки это разные вещи: предполагать, что опасность угрожает тебе одному, или думать, что ей подвергаются все люди, весь род человеческий. В конце концов, я и Жора как-нибудь выкрутимся. Лишь бы со всей землей ничего не случилось.

– Это мы с вами стали ненормальными, – сказал я своему спутнику, – а люди остались такими же, как были.

Жора тупо смотрел на меня.

– Что-то нас ускорило, понимаете? Мы стали двигаться и жить быстрее, а люди живут нормально.

– Нормально!.. Сказал тоже! – Он недоверчиво усмехнулся и встал со скамьи. – Вот, гляди. – Он шагнул вперед. – Я иду, а этот стоит. И рот разинул. (Петр Ильич тем временем опять начал бесконечно медленно раскрывать рот.) А ты говоришь «нормально».

– Ну и что же? Просто мы очень быстро двигаемся и чувствуем. Поэтому нам кажется, что все другие неподвижны.

Теперь мы уже шли обратно из совхоза в наш поселок, и я попытался растолковать Жоре тот раздел классической физики, который трактует вопросы движения и скорости.

– Абсолютной скорости не бывает, понимаете? Скорость тела высчитывается относительно другого, которое мы условно считаем неподвижным. И, судя по всему, изменилась наша скорость относительно Земли. А у других людей она осталась прежней. Поэтому нам и кажется, что они стоят на месте...

Он посмотрел на меня с подозрительностью человека, которому на рынке пытаются всучить гнилье.

– Ну вот представьте себе, например, что вы едете в автомобиле на шестьдесят километров в час. Но это ваша скорость относительно земли, верно? А если рядом идет другая машина на пятьдесят километров, то относительно нее ваша скорость будет уже только десять. Правильно?

Он нахмурил лоб и засопел, усиленно соображая.

– А на спидометре?

– Что – на спидометре?

– А спидометр сколько даст?

– На спидометре вашей машины будет, конечно, шестьдесят. Но ведь это относительно земли...

– Ну вот, шестьдесят! А ты говоришь – десять! – Он усмехнулся как человек, окончательно посрамивший противника.

Я начал было новое рассуждение, но увидел, что Жора не испытывает ни малейшего интереса к тому, о чем я говорю.

У него совсем не было способности абстрактно мыслить. Он меня не понимал и, по моему, думал, что я как-то пытаюсь обвести его вокруг пальца.

Я замолчал, и мы шли около трех километров, каждый поглощенный своими собственными соображениями.

Если допустить, что мы действительно «ускорились» в триста раз или около этого, выходило, что мы пронеслись из поселка в совхоз за какие-нибудь полминуты, если брать нормальное «человеческое» время. То есть для всего окружающего мы промелькнули, как тени, как дуновение ветра. Но в то же время для нас самих это был довольно долгий переход, занявший примерно два с половиной часа по нашему счету.

Но могли ли мы двигаться с такой скоростью? Тысячу или даже тысячу двести километров в час. Я помнил, что при скоростях больше двух тысяч километров, которые достижимы только для реактивной авиации, поверхность самолета нагревается до ста сорока – ста пятидесяти градусов Цельсия. При скоростях за три тысячи фюзеляж нагревается до ста пятидесяти градусов, так что алюминий и его сплавы теряют прочность.

А мы даже не ощущали сильной жары. По всей видимости, получилось, что с ускорением всех жизненных процессов в наших телах резко ускорился и процесс теплообмена.

Это было единственным объяснением, которое я мог найти.

Впрочем, если я быстро взмахивал рукой, ту ее сторону, которая встречала сопротивление воздуха, легонько и приятно покалывало...

А пыль, которую мы подняли на дороге, идя в совхоз, все еще не успела опуститься.

Нога, ушибленная о волну, болела у меня все больше, и я постепенно отставал от Жоры. Эта боль и убеждала меня в реальности всего происходящего.

Когда мы вышли на приморское шоссе, оказалось, что в голове моего спутника все же происходила какая-то мыслительная работа.

Он подождал меня на обочине.

– Значит, мы быстро, а они медленно?

– Кто «они»? – спросил я.

– Ну, вообще... все. – Он обвел рукой широкий круг, показывая, что имеет в виду все человечество.

– Конечно, гораздо медленнее, чем мы.

Жора задумался:

– Выходит, что им нас не поймать?

– Не поймать, – ответил я неуверенно. – А зачем, собственно, им нас ловить? Мы и не собираемся скрываться.

Он засмеялся и зашагал по асфальту. Но теперь поведение его изменилось. Прежде он боялся неподвижных людей, которых мы встречали по дороге, теперь страх его прошел, и он сделался каким-то неприятно прилипчивым по отношению ко всему живому, что попадалось нам по пути.

Недалеко от поселка мы обогнали открытый ЗИЛ-110. Машина шла километров на сто двадцать, но для нас она двигалась не быстрее катка, которым разглаживают асфальт. Даже медленнее.

Мы остановились возле автомобиля и стали рассматривать пассажиров. Это была компания, отправившаяся на прогулку куда-нибудь на озера.

В машине сидело пятеро, и на всех лицах было то счастливое и самоуглубленное выражение, которое бывает у человека, когда он вполне отдается ритму быстрой езды и приятному ощущению упругого ветра.

Правда, все они казались чуть-чуть безжизненными.

Крайней справа на заднем сиденье была девушка лет семнадцати, школьница, с чистым и свежим лицом, одетая в цветастое платье. Она сощурила глаза с длинными ресницами и чуть приоткрыла рот.

Жора долго смотрел на девушку, потом вдруг поднял руку, выставил короткий и толстый указательный палец с грязным ногтем и вознамерился ткнуть девушку этим пальцем в глаз.

Я едва успел отвести его руку. Мы с ним некоторое время боролись. Он, хихикая, вырывался от меня, и я с большим трудом оттащил его от автомобиля.

– Им же нас не догнать, – бормотал он.

В конце концов он сумел сорвать с девушки газовую косынку и бросил ее на дорогу. Я поднял косынку, сунул ее в кузов и потащил моего спутника дальше.

Он был силен как бык, и тут я впервые подумал, какую опасность для людей могут представить те преимущества, обладателями которых мы случайно оказались.

А Жору теперь трудно было уговорить.

За обочиной он заметил клеста и кинулся за ним. Но, к счастью для себя, птичка была так высоко, что он не мог ее достать.

По дороге нам попался мотоциклист – тот, которого я утром увидел еще из дома. Он был примерно в полутора километрах от того места, где я его впервые рассматривал. Жоре почему-то очень захотелось его опрокинуть. Когда я опять стал его оттаскивать, он вдруг, вырвав руку, злобно посмотрел на меня:

– Уйди, гад! А то ты у меня будешь не жить, а тлеть.

Я, опешив, молчал.

Он презрительно выпятил нижнюю губу:

– Чего пристал? На что ты мне нужен?

Еле-еле я его успокоил, и мы потащились дальше. Но теперь его тон по отношению ко мне совершенно переменялся.

После всей этой возни я почувствовал огромное облегчение, когда мы наконец вошли в поселок и я смог увести его с улицы в дом.

Драка

По моим часам выходило, что мы отсутствовали чуть больше одной минуты нормального «человеческого» времени. В поселке почти ничего не переменялось с тех пор, как мы ушли.

В доме Мохова в окне его кабинета была поднята штора, и сам Андрей Андреевич сидел за своим столом. (Ужасно далеким и чужим показался он мне, когда я, прихрамывая, брел мимо!) Домработница Юшковых, веснушчатая коренастая Маша, за заборчиком на противоположной стороне улицы застыла у веревки с пеленкой в руках. Стоя на месте недалеко от ларька, шел незнакомый мне коренастый брюнет в брюках гольф. И надо всем этим висело в небе неподвижное солнце, а ветви деревьев гнулись от ветра, которого я не ощущал.

В столовой я устало рухнул на стул. Черт побери! Все мне уже порядком надоело. Нужно было заставить себя сосредоточиться и подумать, откуда взялись все эти странности. Но я был так удручен, что чувствовал себя совершенно неспособным на сколько-нибудь объективную оценку окружающего.

И мне и Жоре хотелось есть.

Я наконец встал и, волоча ноги, принялся собирать на стол то, что было в холодильнике и на газовой плите на кухне.

– Сбегаю за пол-литром, – предложил Жора.

– Сходим вместе, – ответил я. Мне не хотелось отпускать его одного в поселок.

Он хмуро согласился. Я уже надоел ему со своей опекой, и он с удовольствием от меня отделался бы.

За обедом мы просидели часа два или три.

Было много удивительного. Оброненная со стола вилка повисала в воздухе и лишь минуты за полторы лениво опускалась на пол. Водка никак не хотела выливаться в стакан, и Жоре пришлось сосать ее из горлышка.

Все совершалось как бы в сильно замедленном кинофильме, и только усилием воли я заставлял себя постоянно помнить о том, что мир ведет себя нормально и лишь другая скорость нашего восприятия позволяет нам видеть его изменившимся.

Когда я смотрел на медленно опускающуюся вилку, мне вдруг показалось, что когда-то раньше я уже видел это явление и когда-то раньше уже сидел с Жорой за столом, пытаюсь налить себе молоко в стакан. (Знаете, бывает иногда такое чувство, будто то, что с тобой сейчас происходит, ты переживаешь второй раз в своей жизни.)

Потом я хлопнул себя по лбу. Не видел, а читал. Читал в рассказе Уэллса «Новейший ускоритель». Там тоже был стакан, который повисал в воздухе, и неподвижный велосипедист.

Странно, как тесно даже самая смелая фантазия соприкасается с действительностью! Хотя, впрочем, если вдуматься, в этом нет ничего удивительного. Любое, даже самое фантастическое предположение все-таки основывается на действительности, так как, кроме нее, у человека ничего нет.

Я вспомнил, что в этом рассказе есть эпизод, где один из героев, живущих ускоренной жизнью, берет болонку и перебрасывает ее с одного места на другое. Этого, пожалуй, не могло быть, так как у собачонки оторвалась бы голова.

Дело в том, что в нашем положении вещи не только плавали в воздухе – они лишились прочности. Я брал стул за спинку, и спинка оставалась в моей руке, как если бы я снимал телефонную трубку. Я пытался прибрать постель, но простыня отрывалась клочьями, когда я за нее брался. (Конечно, я говорю это не в укор замечательному писателю. Его рассказ – просто неприятная и мастерски написанная веселая шутка.)

Тут же, за обедом, я впервые увидел, как на самом деле выглядит падающая в воздухе капля. Она вовсе не имеет той «каплевидной» формы, которую мы считаем ей присущей.

Капля из наклоненного чайника падала следующим образом. Сначала от носика отделялось нечто действительно напоминающее каплю. Но затем тотчас же верхняя длинная часть отрывалась от нижней и образовывала крошечное водяное веретено с утолщением посередине и тонкими концами. Нижняя часть в это время делалась шариком. Потом веретено под влиянием сил молекулярного притяжения тоже распадалось на несколько мельчайших, почти незаметных глазу бисеринок, а нижний большой и тяжелый шарик сплющивался сверху и снизу. В таком виде все это, ускоряя движение, опускалось на стол.

Что-то вроде вертикально расположенной нитки с большой сплюснутой бусиной внизу и несколькими совсем крошечными выше.

Вообще капли опускались так медленно, что я разбивал их щелчками.

Но, впрочем, мой новый знакомый не давал мне заняться наблюдениями.

Жора пьянел быстро и, опьянев, стал чрезвычайно неприятен.

Хлебнув очередной раз из бутылки, он поставил ее на стол, скрестил короткие руки на груди, сжал зубы и несколько раз шумно выдохнул через ноздри, уставившись взглядом в пространство.

Все было рассчитано на то, чтобы убедить меня в значительности его, Жоры, переживаний.

Его красное лицо покраснело при этом еще больше, а кончик курносого носа побледнел.

Затем он презрительно оглядел комнату:

– Эх, не знаешь ты жизни!

– Почему? – спросил я.

Он пренебрежительно вздернул плечами, не удостоивая меня ответом.

– А вы, выходит, знаете жизнь? – спросил я немного позже.

Он не понял иронии и высокомерно кивнул. Затем нахмурил лоб, отчего там образовались две жирные складки, принялся скрипеть зубами и скрипел довольно долго.

По всей вероятности, это делалось, чтобы запугать меня, и мне даже стало смешно.

Но, пожалуй, смеяться было не над чем.

– Ну ладно, – сказал Жора. – Я им теперь дам.

– Кому?

Он посмотрел на меня, как на пустое место, еще раз скрипнул зубами и снисходительно бросил:

– Известно кому – легавым.

– Каким легавым?

– Из милиции... И вообще. – Он злобно рассмеялся. – И этому Иваненко тоже. Из совхоза.

В дальнейшем разговоре выяснилось, что он уже отсидел три года за хулиганство. Был осужден на пять, но два ему каким-то образом сократили в порядке зачета.

Долго он перечислял своих врагов. Семен Иванович, некий лейтенант Петров, еще один Семен Иванович и даже директор совхоза Иваненко.

– Узнают теперь Жору Бухтина. Ни один не уйдет...

Потом настроение у него вдруг переменилось, и он затыкнул:

Опять по вторникам дают свидания,
И слезы матери текут без слов...

Кончив петь, он перегнулся через стол и положил мне руку на плечо:

– Ладно. Ты слушай меня. Я тебя научу, как жить. Понял? – он произнес это слово с ударением на последнем слоге.

Я с безразличностью сбросил его ладонь с плеча.

– Нам теперь надо что? – продолжал он. – Деньги. Понял? А я знаю, где взять. В бухгалтерии на электростанции. Ты только держись за меня.

– А зачем нам деньги? – спросил я. – Мы и так все можем брать, что нам надо.

Эта мысль его озадачила. Некоторое время он подозрительно смотрел на меня, потом неуверенно сказал:

– Деньги это все.

Не помню, о чем мы говорили дальше, но позже его осенила новая идея: нам нужно было бежать в Америку. (Она представлялась ему страной, где только и делают, что круглые сутки катаются взад-вперед на шикарных автомобилях и играют на саксофонах.)

Пока он разглагольствовал, я твердо решил, что ни в коем случае не отпущу его от себя. Кто знает, что еще придет в его тупую башку. В том состоянии, в котором мы оба находились, люди были совершенно беззащитны против его наглого любопытства. Он был почти всемогущ: мог украсть, ударить, даже убить.

Он вдруг поднялся из-за стола:

– Надо еще поллитровку.

Я не успел его остановить, и он выскочил за дверь.

Посмотрев в окно и убедившись, что Жора действительно направился в ларек, я прошел в ванную, взял там с крючка маленькое детское полотенце и сунул в карман. Потом опять стал следить за Жорой.

В ларьке он пробыл довольно долго, а назад побрел лениво. Возле прохожего в брюках гольф он остановился и обошел его кругом, разглядывая. Затем вдруг сильно толкнул.

Во мне все закипело от гнева. Я выбежал из столовой.

Жора уже направлялся к молоденькой домработнице Юшковых. Я окликнул его, он нехотя спустил ногу с забора.

Подойдя, я увидел, что его карманы подозрительно оттопыриваются.

– Что у тебя там?

Он колебался, затем наполовину вытащил из кармана толстую пачку полусотенных банкнот.

– Мелочь я даже брать не стал, – пояснил он. – Понял? А потом, есть еще место. Можем взять на пару. Идет?

Пока он все это говорил, я за спиной обмотал полотенцем кисть правой руки. Потом подошел к нему вплотную.

– Слушай меня внимательно. Сейчас пойдем обратно в ларек, и ты положишь на место все, что оттуда взял. Понятно?

Он удивленно заморгал:

– Куда положу?

– Обратно в кассу. В ларьке.

– Зачем?

– Затем, что воровать не позволю.

Наконец до него дошло. Он прищурился и внимательно посмотрел на меня снизу вверх. Он был ниже меня примерно на голову, но гораздо шире в плечах.

Дальше все шло, как в американском гангстерском фильме. Он вдруг замахнулся. Я откинул голову, и в этот момент носок его тяжелого ботинка с силой ударил меня в солнечное сплетение. На какой-то миг я почти полностью потерял сознание от боли и, ловя воздух ртом, скорчился у забора, цепляясь за него, чтобы не упасть. Ноги у меня ослабели, и, приходя в себя, я с ужасом подумал, что Жора сейчас стукнет меня ботинком еще и в лицо.

Если бы он так сделал, я уже не встал бы. Но ему захотелось попетушиться передо мной.

– Что, съел? – спросил он с жадным любопытством. – И еще съешь. Я тебя сразу понял. Тоже легавый, паскуда!

Пока он ругался, я постепенно приходил в себя. Сначала прояснилась голова, потом перестали дрожать ноги. Я сделал глубокий вдох, и мне нужно было еще две-три секунды, чтобы совсем восстановить дыхание.

Жора занес ногу. Но я уже был настороже и, выпрямившись, отскочил.

Некоторое время мы стояли друг против друга.

– Еще хочешь? – спросил он хрипло.

Я шагнул к нему и сделал движение левой рукой. Его взгляд последовал за моим кулаком. Я воспользовался этим и, вложив в движение весь свой вес, нанес ему удар правой в челюсть.

Если бы не полотенце, пальцы у меня были бы разбиты.

Интересно было посмотреть на удивленное выражение его лица, когда он получил эту затрепину. Он постоял секунду и рухнул на одно колено.

Это был классический нокдаун.

Но на земле он оставался недолго. Вынул из кармана нож, раскрыл его и бросился на меня.

Я встретил его еще одним ударом.

Но сдался он только после третьего. Сел на асфальт и выронил нож.

– Ну что? – спросил я. – Хватит?

Он молчал.

– Хватит или еще?

– Ну ладно, – занял он наконец. – Чего тебе надо? Чего ты пристал-то?

После этого мы понесли деньги в ларек. Он, хныкая, тащился впереди, подгоняемый моими окриками.

Продавец в белом измятом халате застыл над своей разоренной кассой. Вернее, он только начал поворачивать голову к ящику, который был недавно опустошен Жорой.

Затем я попробовал поднять сбитого с ног пешехода в гольфах. Но эта попытка оказалась совершенно безрезультатной. Тут мне пришлось столкнуться с той податливостью, которой материальный мир отвечал на быстроту моих движений.

Очень мягко и осторожно я начал поднимать мужчину за плечи. Но голова его оставалась у земли, как приклеенная. Хотя я старался делать все чрезвычайно медленно, все равно с точки зрения обычной жизни получалось, что я дергаю его с фантастической быстротой и голова не поспевает за плечами.

Тело мужчины было как ватное. Я побоялся повредить ему и оставил его лежать.

Жора, стоя поодаль, исподлобья смотрел на все это. Он, очевидно, не мог взять в толк, почему я вожусь с человеком, мне незнакомым.

Когда я встал, он откашлялся:

– Ну, я пошел.

– Куда?

Он независимо махнул рукой по направлению к станции:

– Ну, туда... Домой.

– Никуда ты один не пойдешь, – сказал я. – Так и будем все время вместе. Пошли.

Тогда он кинулся на меня второй раз. Нагнул голову и бросился вперед, как бык, рассчитывая сбить с ног.

Я пропустил его и дал подножку, так что он растянулся на дороге.

Каюсь, что после этого я ударил его ногой. Мне сейчас стыдно об этом вспоминать, но два раза я довольно сильно стукнул его по ребрам.

Это его в конце концов усмирило, и он пошел со мной.

Дома я посмотрел на часы. Боги бессмертные! Всего только две с половиной минуты прошло с тех пор, как я поднялся утром с постели, чтобы встретиться со всеми этими чудесами. Сто пятьдесят секунд прожило человечество, а для нас с Жорой это было одиннадцать или двенадцать часов, доверху наполненных приключениями.

Мы успели познакомиться и подражаться. Дважды проголодались и насытились. Сходили в Глушково и вернулись. У меня была разбита нога, болела кисть правой руки. Колючая щетина выросла на щеках и на подбородке.

А мир еще только неторопливо входил в свою третью минуту.

Как долго продлится наше странное состояние? Неужели мы навсегда обречены вести эту нечеловеческую жизнь? Откуда это все взялось?

Но я не находил в себе сил искать ответ на все эти вопросы.

Жора, как только мы вошли в столовую, свалился на тахту и захрапел.

Я тоже ощущал смертельную усталость, глаза закрывались сами собой. Следовало и мне лечь и выспаться, но я боялся Жоры. Мне даже пришло в голову связать его на то время, пока я буду спать. Но я знал, что он гораздо сильнее меня. Мне удалось его побить только потому, что он не имел ни малейшего представления о боксе.

Шатаясь от усталости, я смотрел на него с завистью. Ему-то не надо было меня опасаться. Вечное преимущество жулика перед честным!

Помню, что, когда Жора заснул, я вышел в ванную с намерением снять пижаму и как следует вымыться. Но пижама начала рваться, как только я стал из нее выкарабкиваться, и я счел за лучшее оставить ее на себе.

И вода тоже ничего не смывала. Она скользила по лицу и по рукам, как будто они были смазаны маслом. По всей вероятности, оттого, что мне не удавалось сделать свои движения достаточно медленными.

В конце концов, так и не умывшись, я улегся на ковре в столовой. Над спящим Жорой я поставил на тахте три стула. Мне подумалось, что, когда он начнет просыпаться и двигаться, стулья будут падать и разбудят меня.

В этот момент я совершенно упустил из виду, что почти все время мы были окружены тишиной, которую прерывали наши собственные голоса. Иногда, впрочем, раздавались какие-то новые и необъяснимые звуки. Что-то вроде протяжного негромкого уханья. Порой был слышен свист, источника которого мы не находили.

Дело в том, что наши уши в обычной жизни воспринимают звуки с частотой колебаний от шестнадцати до двадцати тысяч герц.

Теперь этот диапазон для нас, по всей вероятности, сдвинулся. Какая-то часть старых звуков исчезла, и появились другие, происхождения которых мы не понимали.

Во всяком случае, шума от падения стульев я не услышал бы. Для нас обоих они падали как ватные.

Но тогда я обо всем этом забыл. Какое-то весьма недолгое время поворочался на ковре, пристраивая ушибленную ногу, и заснул.

Попытка связаться с нормальным миром

Не знаю, как других, но меня всегда чрезвычайно освежает даже самый кратковременный сон. В студенческие годы я иногда подрабатывал – работал по ночам грузчиком на мукомольном комбинате. В институте после такой ночи ужасно хотелось спать, и мне случалось довольно прилично выспаться за пять минут перерыва между лекциями. На первой, бывало, сидишь, кусая пальцы, чтобы не дремать, затем после звонка кладешь голову на стол, забываешься и на следующей уже великолепно воспринимаешь самый сложный материал.

На этот раз я проспал не пять, а всего две минуты нормального времени. Но для меня-то, по нашему счету, это означало целых десять часов.

Я проснулся и сразу почувствовал, что усталость начисто ушла из тела. Встал и посмотрел на Жору. Он лежал, раскинувшись и тяжело похрапывая.

Все три стула валялись на полу.

Крадучись, я вышел из дома в сад и огляделся.

Замершим вокруг меня лежал все тот же мир, который я только что покинул. Не шелохнув листком, стояли липы; объятые ленивым покоем, спали кусты жасмина; рядом со мной, нацелившись в воздух, неподвижно висела стрекоза с голубыми матовыми глазами.

И все было залито утренним солнцем.

Оттого что я так хорошо выспался, наше положение вдруг представилось мне в совершенно другом свете. Что там ни говори, но ведь я был настоящим Колумбом в этой новой действительности. Мне не терпелось исследовать свои владения.

Вчера – то, что происходило до того, как мы легли спать, я уже считал событиями вчерашнего дня – мне показалось, что теперь я могу прыгать с большой высоты, не опасаясь разбиться.

Рядом с крыльцом у нас стояла длинная садовая лестница. По ней я осторожно взобрался на крышу крыльца. Высота здесь примерно два с половиной метра, но внизу тогда был мягкий дерн, который жена вскопала под какие-то поздние цветы.

Несколько мгновений поколебавшись, я прыгнул. Так оно и было. Я не падал, а парил в воздухе. Конечно, сила земного притяжения действовала на меня точно так же, как и на любое другое тело. Я опускался с ускорением десять метров в секунду. Но для моего сознания эта секунда была теперь растянута на более длительный срок.

Вообще, если нам случается прыгать с высоты, нам кажется, что мы падаем очень быстро только потому, что за время падения мало успеваем почувствовать и передумать. Наша способность реагировать находится в привычной гармонии со скоростью падения.

Теперь для меня эта гармония сдвинулась. Опускался я в течение полусекунды нормального времени, но относительно моей способности мыслить и двигаться это было чрезвычайно много.

Я купался в воздухе, медленно двигаясь к земле.

Это было такое новое и острое ощущение, что, едва став на ноги, я тотчас полез обратно. Уже не на крыльцо, а прямо на крышу дома.

Отсюда я оглядел поселок и увидел, что сбитого Жорой прохожего уже не было на дороге.

По всей вероятности, он все же поднялся на ноги за те две минуты, пока мы спали, и скрылся за поворотом шоссе. Наверно, он так и не понял, что с ним произошло. И не поймет никогда.

Мне ужасно хотелось еще раз испытать ощущение полета, и я снова прыгнул вниз. Впрочем, с моей точки зрения, даже не прыгнул, а всего лишь сошел с крыши на воздух. На этот раз высота была больше – приблизительно метров пять. Это равнялось секунде нормального времени или пяти моим минутам.

Пять минут неторопливого плавания в воздухе! Чтобы понять это, надо испытать. Я раскидывал руки и ноги и, наоборот, сжимался в комок, опускался вниз животом и перевертывался. Было такое впечатление, что весь мир наполнен какой-то тонкой прозрачной эмульсией, которая мягко и нежно держит меня.

Затем наконец я приблизился к земле, стал на ноги и попытался тотчас вернуться к лестнице. Но не тут-то было. Я совсем забыл о силе инерции. Во время первого прыжка, со сравнительно небольшой высоты, она была почти незаметна, а теперь получилось иначе.

Какая-то странная тяжесть продолжала прижимать меня к земле, согнула колени, потянула вниз голову.

На какой-то момент мне даже стало страшно. Потом, сообразив, в чем дело, я быстро повернулся и лег на спину. Тяжесть прошла сквозь голову, плечи, грудь и ноги и как бы просочилась в землю.

Помню, что после этого опыта я прыгал еще несколько раз. Наверно, если бы кто-нибудь мог меня видеть, это выглядело бы довольно глупо. Взрослый человек взбирается на крышу собственного дома и сигает оттуда, как мальчишка, с блаженнейшим выражением на лице.

Мне тогда же пришло в голову, что в своем новом положении я мог бы даже летать по воздуху. Для этого мне нужны были бы только крылья. Ведь тут все дело в затратах силы на единицу времени. Мускульная система человека в обычном состоянии не может дать такой мощности, какой хватило бы, чтобы держать его в воздухе. А мои мускулы теперь могли. Мне не хватало только крыльев.

Я просто задохнулся, когда подумал об этом.

Потом я решил, что следует наконец попробовать связаться с нормальным миром. Почему бы не написать какую-нибудь записку и не положить ее на стол перед Андреем Моховым? Из сада я видел его сидящим в своем кабинете.

Сначала я попытался нащелкать записку на машинке. Однако из этого ничего не получилось. Не знаю, сколько ударов в секунду делает хорошая машинистка. По-моему, около десяти. Причем она могла бы делать и больше, но ее лимитирует та скорость, с которой клавиша возвращается на место под влиянием натянутой пружины.

Десять ударов в секунду для моего восприятия означало десять ударов в каждые пять минут. Чтобы написать строчку, мне пришлось бы прожить полчаса.

Я нажимал клавишу, она делала довольно быстрое движение и после этого как бы прилипала к ленте, отказываясь возвращаться на место.

Тогда я взял вечное перо, но и с ним вышло не лучше. Теперь чернила не успевали за быстротой моих движений. Я старался писать медленно, но перо все равно не оставляло следов на бумаге.

В конце концов мне пришлось прибегнуть к обыкновенному карандашу, которым я и написал на листке:

Попал в другой темп времени. Живу со скоростью, в триста раз превышающей нормальную. Причина не ясна. Приготовьтесь держать со мной связь. В. Коростылев.

Не знаю почему, но записка получилась составленной в каком-то телеграфном стиле.

Сунув ее в карман пижамы (я оставался все это время в пижаме), я заглянул в столовую, чтобы убедиться, на месте ли Жора.

Он спал в той же позе, в которой я его оставил. На всякий случай я запер комнату на ключ.

В кабинет к Мохову я полез прямо через окно. Какое-то странное чувство удержало меня от того, чтобы идти через комнаты. Меня никто не мог видеть и остановить, поэтому я чувствовал себя незванным гостем и боялся оказаться невольным свидетелем каких-нибудь маленьких семейных тайн.

Андрей сидел за своим столом. Последние полгода он работал над усовершенствованием метода гамма-графирования, и сейчас перед ним на листе ватмана был черновой набросок одного из узлов лучеиспускающей конструкции.

На самом краю стола стояла портативная пишущая машинка.

В руках у Мохова была логарифмическая линейка.

Мне очень трудно передать те ощущения, которые у меня возникли, когда я перелез через подоконник и сел в комнате на стул рядом со своим приятелем. Дело в том, что я почти не мог заставить себя воспринимать его как человека.

Для меня он был манекеном, отлично сделанной куклой, сохранившей полное сходство с живым Моховым.

Манекен держал в руках логарифмическую линейку и притворялся, будто способен на ней считать.

Чертовской штукой была эта разница в скорости жизни в триста раз. Всех наших друзей и знакомых мы воспринимаем только в движении, хотя никогда и не думаем об этом. Но именно движение и придает им то обаяние, которым они для нас обладают. Постоянное движение мускулов лица, движение мысли, которое отражается в глазах и на лице, жесты, какие-то неуловимые токи, исходящие постоянно от живого человека.

Хороший художник отличается от плохого как раз тем, что умеет схватить это внутреннее и внешнее движение на лице своей модели.

А сейчас на лице Мохова я не видел движения. Я знал, что оно есть. Но оно было слишком замедленно, чтобы я мог его заметить. Кукла – вот чем он мне казался.

Я положил перед застывшим Моховым свою записку и стал ждать, когда он обратит на нее внимание.

Медленно тянулось время. Вокруг было так тихо, что в ушах я ощущал биение своего пульса. Двадцать ударов... пятьдесят... сто двадцать...

Пять моих минут прошло, а Мохов все еще не видел моей записки. Его взгляд упирался в логарифмическую линейку.

Я все время боялся, что Жора, чего доброго, проснется там, в столовой, и сидел поэтому как на иголках.

Потом мне стало совсем невтерпеж ждать, я взял пишущую машинку – чертовски трудно было стронуть ее с места – и переставил с края стола на середину прямо перед Андреем Андреевичем, придавив кончик записки.

Это наконец его проняло. Согнувшись на своем стуле, я смотрел снизу ему в глаза. (Со стороны это могло выглядеть, как если бы я прислушивался к скрипу половиц на паркете.) Медленно-медленно, едва заметно, его зрачки стали перемещаться, взгляд последовал к тому месту, где машинка была прежде, и затем обратно – туда, где она стояла теперь. И так же медленно на лице Мохова стало возникать выражение удивления.

Конечно, он не мог видеть, как машинка переносилась с одного места на другое. Человеческий мозг способен улавливать только те зрительные впечатления, которые длятся дольше чем одна двадцатая доля секунды. Я переставил машинку за одну сотую долю, и для Мохова это выглядело так, как если бы она просто стояла на углу стола, затем это место стало пустым, и машинка вдруг из ничего возникла прямо перед ним.

Он был озадачен. Выражение удивления появилось на его лице и стало усиливаться. Но даже в самой высшей точке этого чувства оно не было очень резким. Просто чуть приподнялись брови и раскрылись пошире глаза.

Вообще он был очень сдержанным человеком, мой друг Андрей Андреевич, и сейчас я в этом лишний раз убедился.

Потом его взгляд последовал к моей записке. Удивленное выражение исчезло и сменилось интересом. Читал он ее и осмысливал секунды три или четыре, но для меня это было около двадцати минут. Я вставал и садился, ходил по комнате, высовывался в окно, чтобы взглянуть на наш дом. А Мохов все смотрел на записку.

Один раз я положил руку на стол перед ним и держал ее неподвижно в течение трех своих минут. По-моему, он ее увидел, потому что его взгляд медленно переместился с записки на мою руку и брови опять стали удивленно приподниматься.

Вообще же, пока я двигался, он не мог меня видеть, так же как и все прохожие, которых мы с Жорой встречали в поселке и на дороге. Для нормальной способности воспринимать зрительные образы мы двигались слишком быстро. В лучшем случае мы могли представляться людям мельканием каких-то смутных теней.

Мохов еще раз удивился, на что у него снова ушло десять или двенадцать моих минут, и после этого начал какие-то странные движения.

Я не сразу понял, что он собирается делать. Медленно Андрей перегнулся в поясе, затем под стулом согнул колени и наконец откинул назад руки. В этот момент он своей позой напоминал пловца, который приготовился прыгать со стартовой тумбочки в бассейне. В таком положении он находился целую минуту.

Потом колени стали выпрямляться, руки взяли стул, шея вытянулась, как у гусака, центр тяжести тела переместился вперед.

Оказалось, он всего только вставал со стула.

Я понял, что он хочет позвать жену, чтобы сделать ее свидетельницей всех этих чудес, и решил, что успею сходить проведать Жору.

От этой первой попытки общения с внешним миром у меня осталось довольно горькое впечатление. Выходило, что я смогу задавать какие-то вопросы, часа через два получать на них ответы, и все. Не больно-то приятно понимать, что ты непреодолимой стеной отгорожен от всех людей.

Когда я торопливо шел мимо нашего гаража в сад, мне пришло в голову, что, если Жора опять начнет хулиганить, я могу запереть его вместе со своим «москвичом».

Гараж у меня довольно просторный. Это прочная кирпичная постройка, крытая железом. С одной стороны сделаны широкие двойные двери, запирающиеся на массивную щеколду, с другой – небольшое окно на высоте примерно в полтора человеческих роста. В целом – вполне пригодное место, чтобы на время изолировать опасного человека. (В это время я совсем забыл почему-то о той силе, которой мы оба обладали.)

Раздумывая, я зашел за гараж и тут замер, пораженный.

Вся грядка клубники, примыкающая к кирпичной кладке, была истоптана чьими-то ботинками. К окошку кто-то приставил широкую доску и сломал раму.

Я откинул доску, подпрыгнул, уцепился за край окна и, подтянувшись на руках, заглянул внутрь гаража.

Там все было в порядке. Решетка, вделанная в стену изнутри, не была сломана.

Кто-то пытался забраться в гараж. Кто-то пробовал это сделать и потерпел неудачу, так как не знал о решетке на окне.

Мне не надо было долго раздумывать над тем, кто был этим взломщиком. Я сразу вспомнил испачканные землей ботинки Жоры, его смущение, когда я пригласил его войти в дом, и нежелание рассказать, где застигли его все странные изменения в мире.

Но в тот момент не поступок Жоры взволновал меня.

Он и я! Он здесь, у гаража, и я у себя в спальне... Что нас связывало? Почему эта странная сила избрала только меня и его, чтобы проделать с нами все эти чудеса?

Мысленно я провел прямую линию, соединяющую гараж и нашу спальню. В одну сторону она шла к заливу, в другую – к территории электростанции.

Я отбежал от гаража, чтобы лучше увидеть наш коттедж.

Да, конечно, это было так. Прямая линия, мысленно проведенная через заднюю стенку гаража и через то место в спальне, где стояла моя постель, уходила дальше, к зданию, в котором помещается атомный реактор.

Какой-то узкий луч вдруг исторгся оттуда и изменил скорость всех жизненных процессов для меня и для моего спутника. Но почему? Что за луч? Как проник он сквозь мощные защиты, которые задерживают и потоки нейтронов, и все опасные излучения, сопровождающие реакцию деления урана?

И тут я вспомнил о том, что видел вчера ночью. Маленький синеватый шар, похожий на медузу. Шаровая молния... Шаровая молния, которая вчера ушла в крышу здания как раз в том месте, куда я прочертил свою воображаемую прямую!

Неужели здесь возможна была какая-нибудь связь?

Несколько мгновений я вспоминал все, что знал о шаровой молнии.

Дело в том, что она представляет собой одну из тех загадок, решения которых еще не знает современная наука. Шаровая молния обычно движется по ветру, но бывали случаи, когда она летела и против потока воздуха. Внутри шара господствует чрезвычайно высокая температура, но в то же время молния скользит по диэлектрикам, таким, например, как дерево или стекло, даже не опаливая их. Случается, что, встречая на пути человека, молния обходит его, как будто токи, излучаемые живым организмом, преграждают ей дорогу. В настоящее время многие считают, что шаровая молния – это и не молния вовсе, а ионизированное облако плазмы, то есть газа из ядер и сорванных с них электронов.

Если это так, природа в своей собственной лаборатории уже осуществила то, над чем бьются сейчас виднейшие умы науки.

Могло ли получиться, что, взаимодействуя с процессом деления урана в реакторе нашей электростанции, плазма шаровой молнии образовала какое-то новое излучение?

При мысли о том, что я стою сейчас перед открытием неизвестного прежде вида энергии, я почувствовал, как у меня покраснели щеки и лихорадочно забилось сердце.

Новый вид энергии!

Лучи, ускоряющие ход времени!

Я вспомнил об опытах профессора Вальцева, которыми было доказано, что под влиянием радиоактивного облучения резко сокращается срок созревания плодов на яблоне. Вспомнил о таких же работах в Брукхейвенской лаборатории в Америке.

Охваченный волнением, я кинулся к дому, чтобы поделиться с Жорой своими соображениями. В коридоре я лихорадочно нащупал ключ в кармане, открыл дверь в столовую и остановился.

Жоры не было.

Он даже не потрудился растворить окно, чтобы выйти. Он попросту вышиб раму вместе со стеклами.

По всей вероятности, он не спал уже тогда, когда я второй раз зашел его проведать.

В окно ему было видно, что я направился к дому Мохова. Он решил, что уже достаточно наслаждался моим обществом.

Все плохое, что я о нем знал, вихрем пронеслось у меня в голове.

Чем он займется теперь, оказавшись независимым? Как он будет поступать с теми, кто попадется ему на пути, невидимый, обладающий огромной силой, которую придала нам чудовищно возросшая скорость движений! Никто не сумеет не только задержать его, но даже и просто увидеть. Если он начнет нападать на людей, они даже знать не будут, что за страшная сила ворвалась в их жизнь...

Ругая себя за легкомыслие, с которым я оставил Жору одного в комнате, я бросился в сад.

Погоня

Как я уже говорил, дорога, проходящая по улице нашего поселка, соединяет приморское шоссе со станцией электрички, которая находится примерно в двух километрах от СЭС. Сам не знаю отчего, но, выбежав на улицу, я твердо решил, что Жора направился именно по приморскому шоссе, и не куда-нибудь, а в сторону Ленинграда.

По всей вероятности, я бы и сам так сделал, если бы оказался в его положении. Ведь пользоваться электричкой мы все равно не могли: она была для нас слишком медленной.

Я поспешно захромал к заливу, вышел на приморское шоссе и огляделся.

Направо, в направлении на Лебяжье, шоссе идет прямой, как натянутая струна, линией и поэтому легко просматривается на протяжении целых пяти километров. Как и ожидал, Жоры там не было видно.

Влево, к Ленинграду, дорога начинает что-то вроде длинной параболы, один конец которой упирается в крайние дома нашего поселка, а другой – в курортное местечко, называемое Волчий Хвост. Финский залив образует тут что-то вроде маленького заливчика, и обсаженное липами шоссе повторяет изгиб берега.

По прямой на лодке от поселка до Волчьего Хвоста всего один километр, а по дороге набирается целых четыре.

Стоя у самой воды, я довольно долго всматривался в эти липы. Оттого что я был убежден, что Жора пошел к Ленинграду, мне показалось, будто я вижу между стволами какое-то движущееся пятнышко.

И вдруг мне пришло в голову, что я должен ринуться наперерез сбежавшему хулигану прямо по воде и перехватить его где-то не доходя Волчьего Хвоста.

Я уже раньше думал, что при нашей колоссальной скорости движения мы можем ходить по волнам, как по суше. Теперь передо мной была прекрасная возможность это испытать. В крайнем случае я ничем не рисковал, так как глубины здесь, у берега, везде очень небольшие и в самом центре заливчика мне могло быть не более чем по грудь.

И представьте себе, я действительно пошел по воде.

Даже не знаю, с чем можно сравнить ощущение, возникшее у меня, когда я ступил на первую неподвижную волну. Это было совсем не то, что чувствуешь, когда шагаешь по болотистой местности и, начиная проваливаться, поспешно вытаскиваешь ноги из трясины. И не то, что получается при движении по рыхлому песку.

Я, собственно, и не проваливался. Я шел как бы по тонкой пленке, которая довольно ощутимо прогибалась и пружинила подо мной. У меня все время было при этом такое чувство, что вот сейчас я и начну проваливаться, но, прежде чем этому случиться, я уже убирал ногу с того места.

Один раз, примерно на середине заливчика, я остановился и, прорвав пружинящую пленку, стал медленно погружаться в воду. Но я тотчас выбрался на нее и пустился дальше.

Я бы сказал, что в зависимости от скорости движения вода ощутимо меняла для меня свое качество.

По моему собственному счету, я пробежал километр за две с половиной минуты. Неплохое время, если иметь в виду ушибленную ногу.

Выбравшись на берег и продираясь к шоссе сквозь кусты ольховника, я даже улыбнулся, подумав о том, как изменится лицо Жоры при встрече со мной.

Однако мне так и не пришлось полюбоваться его растерянностью, поскольку на дороге Жоры не было.

До сих пор не знаю, что привиделось мне с другого берега заливчика. Может быть, это было просто то темное пятно, которое возникает от утомления зрительного нерва.

Шагая обратно к поселку, я встретил несколько автобусов. Один шел к Ленинграду и был совершенно пустой, а два других, двигавшихся в противоположном направлении, тяжело осели под тяжестью многочисленных пассажиров.

Это навело меня на мысль, что сегодня, собственно говоря, воскресенье, выходной день, и, вместо того чтобы отдохнуть, я гоняюсь по дороге за бандитом.

Тогда я первый раз очень отчетливо понял, насколько понятие «свобода» противоположно возможности делать все, что захочется. Я-то действительно мог делать все, чего желала душа, даже бегать по воде. Но в то же время я чувствовал себя чем-то вроде узника, находящегося в одиночном заключении. Все ехали загорать, купаться, повидаться с друзьями, а я даже не мог рассказать никому о тех чудесах, которые уже испытал.

Впоследствии, пока длилось это мое странное состояние, я возвращался к этой мысли несколько раз.

Свобода – это прежде всего возможность свободно общаться с людьми, а без такой возможности все другое теряет цену.

Раздумывая об этом, я незаметно дошел до поселка и остановился в нерешительности.

Куда идти? К Андрею Мохову, чтобы получить ответ на свою записку? Домой, чтобы перекусить что-нибудь?

Я уже чувствовал довольно сильный голод. Вообще я заметил, что и мне и Жоре хотелось есть гораздо чаще, чем в нормальных обстоятельствах, – может быть, потому, что мы все время находились в движении.

И где искать теперь этого самого Жору?

Почти бегом я добрался до станции электрички и некоторое время разыскивал его там.

Только что пришел поезд из Ленинграда, и перрон был полон приехавших и встречающих. Празднично одетые мужчины и женщины, молодежь с рюкзаками, несколько велосипедистов.

Наверно, в действительной жизни на станции было очень оживленно, но для меня это все представляло собой толпу манекенов, сошедших с витрины магазина готового платья.

В одном месте на ступеньках, ведущих с перрона на дорогу, стоял поддерживаемый дедушкой за плечо двухлетний малыш в матросском костюмчике. На круглом личике его застыла радостная улыбка. К нему протягивали руки счастливые отец с матерью.

Было такое впечатление, будто все они репетируют для фотографа слащавую семейную сценку: «Миша встречает папу с мамой».

Тут же впервые я испытал ощущение стыда, оттого что я не такой, как все.

Позже это чувство все росло и росло во мне. Но в первый раз оно пришло именно тогда, на перроне.

Возможно, это покажется странным, но меня ужасно угнетало то, что все вокруг были хорошо одеты, чисты и веселы, а я бродил среди них в грязной и разорванной в нескольких местах пижаме, небритый и усталый.

Я знал, что никто не может меня видеть, так как я постоянно двигался, но все равно мне не удавалось побороть чувство стыда.

Осмотревшись на перроне, я вышел на дорогу к Ленинграду, которая идет здесь совсем рядом с железнодорожной линией, и увидел наконец Жору примерно метрах в восьмистах впереди.

Тогда началась погоня, которая длилась целых два часа.

Впрочем, не уверен, что это можно назвать погоней. Жора от меня не убегал, он не знал, что я пытаюсь его догнать.

Возле станции Спортивная, которая находится в шести километрах от нашей, я чуть было не настиг Жору, потому что он остановился обшарить карманы пожилого, профессорского вида гражданина в сером костюме.

Я был в это время метрах в ста от обоих и спрятался в кустах, боясь, что Жора меня заметит. Потом я стал пробираться по кустарнику вперед, но Жора в это время кончил свое дело, бросил бумажник гражданина на землю и быстро зашагал дальше.

Бумажник так и лежал на асфальте, когда я шел мимо пожилого мужчины. Пиджак у него был весь разорван.

Вообще вся неестественность и даже дикость этого преследования заключались в том, что я просто физически был не в состоянии догнать Жору, хотя все время видел вдалеке его коренастую фигуру в пиджаке. Мы обгоняли автомобили и автобусы, мы двигались быстрее транспорта любого вида. На земле не существовало силы, которая могла бы мне помочь.

Как в эпоху первобытного человека, результат зависел только от наших ног. А у Жоры они были проворнее, потому что я с каждым новым шагом хромал все сильнее и сильнее...

Когда мы были недалеко от следующей станции, случилось нечто, в конце концов принудившее меня совсем отказаться от погони.

Железнодорожная катастрофа

Сначала был звук, который заставил меня насторожиться.

Я хромал мимо бесконечно длинного железнодорожного состава, когда вдруг откуда-то издали пришел и раскатился низкий, все усиливающийся рев.

Это так походило на гром, что я остановился и взглянул на небо. Но на нем не было ни облачка.

Помню, что этот рев меня даже испугал. В нем было что-то всеобъемлющее. Как будто бы кричала сама земля. А я чувствовал, что с меня уже достаточно всяких чудес и космических катастроф.

Затем я посмотрел в сторону паровоза, увидел неподвижное облако пара возле трубы и понял, что это всего лишь паровозный свисток. Машинист предупреждал начальника станции о приближении поезда.

Очень долго я брел мимо этого состава. Сначала шли платформы, груженные камнем, затем несколько вагонов со скотом, три нефтеналивные цистерны, опять платформы и опять вагоны.

Это был совершенно бесконечный поезд, и я устал обгонять его. Он мне надоел, когда я дошел еще только до середины.

Это может показаться странным, но, если мы с Жорой куда-нибудь шли, нам вовсе не казалось, что мы движемся со сверхъестественной быстротой. Нам казалось, что все остальное стоит на месте, а мы сами двигаемся только нормально.

Дело в том, что «быстро» и «медленно» это чисто субъективные понятия.

Поэтому мне представлялось, что я с нормальной скоростью иду вдоль бесконечного поезда, который почти что стоит неподвижно. (В действительности он двигался со скоростью километров сорок в час.)

Я дошел до первых вагонов, когда в рев паровозного свистка начали вплетаться гудки высокого тона. Было такое впечатление, будто они идут от колес.

Потом, уже возле тендера, я увидел внизу, под невысокой насыпью, старуху в вязаной кофточке, которая с отчаянным лицом протягивала руки к чему-то находившемуся на рельсах впереди паровоза.

Так как я шел почти рядом с вагонами, мне не было видно, что это такое.

Я сделал еще несколько шагов и миновал паровоз. Помню, что меня обдало жаром, когда я проходил мимо шатуна.

Метрах в двадцати от передних маленьких колес, которые называются бегунками, на шпалах стояла девочка лет четырех или пяти. Вернее, не стояла, а бежала. Но так как для меня весь мир был неподвижно застывшим, мне казалось, что она стоит в позе бегущей. Обыкновенная девочка. Гривка волос пшеничного цвета, штапельное короткое платьице, пухлые неуклюжие детские ножки.

Я посмотрел на девочку, на старуху, на машиниста, который почему-то высунулся чуть ли не до пояса из своего окошка, и пошел дальше.

Жора был еще виден в полукилометре от меня на дороге.

Я отошел метров на десять, и только тогда меня вдруг осенило.

Что я делаю? Куда я иду? Ведь происходит катастрофа! Ребенок попал под поезд!

Уже позже я понял, как это все случилось. На насыпи и возле нее всегда поспевает в июне много земляники. Хотя железнодорожная администрация и борется с этим, но дачники из окрестных поселков и деревенские ребяташки часто тут ее собирают.

По всей вероятности, старуха с девочкой как раз этим самым и занимались. Потом старуха вдруг увидела издали поезд и крикнула внучке, которая была на другой стороне насыпи, чтобы та береглась. А девочка не расслышала и побежала к старухе.

Понять я все это понял, но что я должен был делать?

Я знал, что, если просто сниму сейчас девочку со шпал и поставлю на траву, это будет означать, что я налетел на ребенка со скоростью пушечного снаряда.

Я помнил, как отрывались спинки от стульев, когда я пробовал переставлять их с места на место.

Не скрою, что я ощутил сильнейшую ненависть к глупой старухе. С маленьким ребенком идти на насыпь за ягодами! По-моему, у нас мало штрафуют за различные железнодорожные нарушения...

Паровоз медленно, но неотвратимо приближался к девочке.

И ребенок и старуха застыли совершенно неподвижно, а огромная машина локомотива каждую секунду неуклонно отвоевывала по сантиметру. Лицо машиниста выражало крайнюю степень ужаса и отчаяния. Я теперь понял, что гудки, которые вплетались в рев паровоза, были скрипом тормозных колодок.

Сначала мне пришло в голову попытаться поднять девочку за платье. Но, как только я потянул подол вверх, легкая материя начала расползаться.

Затем я решил, что скину пижаму и возьму в нее девочку, как в мешок. Я совсем забыл, что уже однажды пробовал снимать пижаму и, конечно, штапельное полотно тоже поползло у меня под пальцами.

Странное было положение. Застывшая на бегу девочка, искаженное отчаянием лицо машиниста – он, конечно, был уже уверен, что задавит ребенка, – неуклонно приближающиеся тяжелые буфера паровоза и я, не знающий, как мне взяться за это маленькое светловолосое создание.

Но медлить было нельзя. Еще мгновение, и поезд смял бы ребенка.

В конце концов я решил просто взять девочку руками. Трудность была в том, чтобы не повредить ей слишком быстрым движением.

Бесконечно осторожно я просунул ладони под мышки ребенку и медленно начал поднимать маленькое хрупкое тельце. Девочка так и осталась в положении бегущей, когда ее ножки отделились от шпал.

А полотно железной дороги уже ощутимо прогибалось под тяжестью паровоза.

Когда круглый плоский буфер подошел ко мне совсем близко, я, оставаясь сам на месте, осторожно начал двигать девочку в воздухе. Затем буфер уперся мне в спину, жарко дохнуло запахом смазочных масел. Я сделал несколько шагов по шпалам, сошел с насыпи и просто отпустил девочку над землей.

Даже не знаю, с чем можно сравнить то, что я делал. Примерно так в нормальной жизни человек нес бы налитый до самых краев таз с водой.

Со стороны это выглядело, как если бы девочку перед самыми колесами поезда просто сдуло ветром со шпал.

Некоторое время я стоял возле нее, глядя, как она постепенно опускается на траву. На лице у нее появилось выражение испуга, которое начало затем сменяться удивлением.

По-моему, я ей все-таки не повредил.

Старуха продолжала стоять так же, как стояла, а машинист еще больше высунулся из окошка и смотрел теперь под колеса паровоза. Он, наверно, думал, что ребенок уже там.

Я испытывал по отношению к нему очень теплое чувство. Хотелось похлопать его по испачканному маслом плечу и сказать, что все окончилось благополучно.

Потом я посмотрел на шоссе, ища глазами Жору. Но он за это время уже скрылся из виду.

Совершенно не веря, что я его догоню, я дошел до станции Отдых. Здесь шоссейная дорога делится на две. Одна ветка поворачивает к заливу, чтобы соединиться там с приморским шоссе, а другая идет на Красноостров и дальше тоже на Ленинград.

Не было никакой возможности угадать, в какую сторону направился Жора.

Минут десять я бродил по станции, надеясь где-нибудь на него наткнуться. Мне хотелось пить, и я подошел к маленькой очереди возле ларька газированных вод. Пока продавщица неподвижно отсчитывала сдачу полному, вспотевшему, несмотря на ранний час, гражданину, я взял стакан и попытался сам налить себе воды без газа. Но для меня это оказалось слишком длительным процессом. Не дождавшись, когда мой стакан наполнится, я поставил его на прилавок и вырвал другой из рук гражданина.

Поесть я тоже был бы не прочь, и рядом, на станции, уже работал буфет. Но я не мог заставить себя войти в помещение, наполненное народом. Я снова начал испытывать чувство стыда оттого, что я не такой, как все.

Я проверил свои ручные часы по станционным. Они шли секунда в секунду.

После этого я, сильно хромая, побрел домой.

Очень плохое у меня было настроение. Впервые мне пришло в голову, что, в сущности, человеческий век не так уж долг – всего каких-нибудь восьмьсот месяцев. А поскольку я

жил в триста раз быстрее, оставшиеся мне тридцать лет я проживу всего за один или полтора месяца нормального времени. Сейчас конец июня, а в середине августа я буду уже глубоким стариком и умру.

Но вместе с тем для меня самого – для моего внутреннего ощущения – это будут полных тридцать лет со всем тем, что образует человеческую жизнь, – с надеждами и разочарованиями, с планами и их исполнением. И все это пройдет в полном одиночестве. Ведь нельзя же считать общением те записки, которыми я смогу обмениваться с неподвижными манекенами-людьми...

Времени было десять минут девятого. Через два нормальных «человеческих» часа из города должна была вернуться Аня. Как я встречу ее? Как дам ей понять, что меня больше не существует в нормальном счете минут и секунд? Что скажет она ребятам об их отце?

Все это были горькие мысли, и я несколько раз болезненно вздыхал, тащась по дороге.

На середине пути мне вдруг очень сильно захотелось спать. Некоторое время я выбирал какое-нибудь скрытое от посторонних глаз местечко в кустарнике на краю шоссе, где мог бы улечься и заснуть. Но тут, по линии железной дороги, повсюду былолюдно, и я не нашел ничего подходящего.

Мысль о том, что меня смогут увидеть спящим, почему-то страшила.

Большой палец на ноге здорово распух и посинел, и постепенно, по мере того как я брел к дому, начала болеть вся ступня. Я хромал все сильнее и, прежде чем добрался до нашего поселка, несколько раз присаживался отдохнуть.

Когда я еще крался в кустах, стараясь приблизиться к Жоре, я задел за какой-то сук, и пижама слегка порвалась пониже воротника. Потом линия разрыва все увеличивалась, пока наконец на спине у меня не оказались две ничем не соединенные половины пижамы. Я их снял и выбросил.

Вообще я добрался до своего дома в довольно жалком состоянии. Хромой, усталый, голодный и до пояса голый. Поспешно сжевал кусок хлеба и свалился на тахту.

Новые встречи с Моховым

Иногда с человеком случается так, что, хотя его ждет срочное и важное дело, он вдруг ни с того ни с сего начинает заниматься какими-нибудь пустяками. Знает, что надо браться за важное, а сам тратит время на то, чтобы по-особому отточить карандаш, вспомнить фразу из недавно прочитанной книги или что-нибудь другое в таком духе.

Обычно это бывает от большой усталости.

Когда я после нескольких часов тяжелого сна поднялся с тахты у нас в столовой, я тоже, вместо того чтобы сразу отправиться к Мохову и узнать, ответил ли он мне какой-нибудь запиской, принялся надевать рубашку, которую взял из ванной.

В конце концов было не так уж существенно, в рубашке я буду ходить по поселку или в одних только пижамных брюках. Все равно меня никто не мог видеть, и холодно мне тоже не было.

Но, как только я пробовал натянуть рубашку на себя, материя бесшумно и без всякого сопротивления рвалась, и скоро по всей комнате плавали, медленно опускаясь на пол, оторванные рукава и полы.

Потом я попытался приладить на ногу согревающий компресс (надо было, конечно, охлаждающий, как полагается при вывихах и переломах). Но бинт рвался у меня под руками, и в конце концов я просто надел ботинок на босу ногу.

И только после этого я пошел к Мохову.

Выходя из дому, я подумал о том, как успел уже разрушиться наш коттедж за это время. В столовой была выбита оконная рама, на кухне по полу рассыпались осколки разбитой Жорой бутылки, выходная дверь, сорванная с петель, валялась в саду на траве.

К Андрею Андреевичу я опять полез через окно кабинета.

Я перемахнул через подоконник и увидел, что Мохов и его жена Валя стоят рядом у стола. У обоих на лицах было такое выражение, будто они к чему-то прислушивались.

Я ожидал, что на столе будет приготовленная для меня записка, но ее не было.

В руке у Вали был нож для резанья хлеба. По всей вероятности, она готовила завтрак, когда Андрей позвал ее.

В моем нервном состоянии я почувствовал, как во мне нарастает раздражение. Почему же он не ответил на мою записку?

Потом я взглянул на ручные часы, и сердце у меня похолодело. С тех пор как я был здесь в кабинете, прошло всего четыре нормальных «человеческих» минуты!

Мои размышления возле гаража, бег по волнам через залив, погоня за Жорой вдоль линии железной дороги, спасение девочки и обратный путь в поселок – все уложилось в четыре обыкновенные минуты.

Черт возьми, конечно, Мохов не успел ничего как следует сообразить.

А я уже вернулся после всех своих приключений и хочу получить ответ на свое письмо!

Я сел на стул сбоку от Андрея и стал смотреть на них обоих.

Бесконечно медленно эти две живые куклы поворачивали друг к другу головы, и бесконечно медленно на их лицах расплывались улыбки.

Минут пятнадцать прошло, пока они наконец улыбнулись друг другу, и Валя начала раскрывать рот. Наверно, она собиралась сказать мужу, чтобы он не мешал ей собирать на стол.

Когда я влезал в окно, поднятый мною ветер подхватил со стола сорванный листок настольного календаря, и в течение по крайней мере десяти минут этот листок косо плыл в воздухе в угол комнаты.

Я встал, осторожно снял машинку со стола и поставил ее на пол – пусть Валя тоже убедится, что все это вовсе не шутки. Взял из неподвижной руки Андрея карандаш и крупно написал на ватмане поверх его чертежа:

Я живу в другом времени. Подтверди, что ты прочел и понял, что здесь написано. Напиши мне ответ. Я не могу тебя слышать. Напиши тут же. В. Коростылев.

Сколько времени потребуется Андрею, чтобы осмыслить мое новое письмо и написать ответ? По всей видимости, не меньше одной своей минуты и не меньше моих пяти часов.

Я выбрался из окна в сад и пошел в ларек взять там еще масла и консервов.

Плохо помню, чем я занимался потом. По-моему, эти пять часов прошли для меня в каком-то тоскливом ожидании. Два раза ел – опять хлеб с маслом и консервы, – слонялся, прихрамывая, по поселку, около часа просидел, держа ногу в тазу с холодной водой. (Мне очень долго пришлось провозиться, пока я налил этот таз и пока убедился, что его нельзя переносить с места на место. Как только я пытался это сделать, вода выскальзывала из таза и медленно растекалась в ванной на кафельном полу.)

А вокруг меня продолжалось все то же бесконечное утро.

Я не сразу понял тогда, почему мне было так важно, чтобы Андрей узнал о том, что со мной произошло. Чтобы вообще об этом стало известно.

Очевидно, все дело в том, что человеку страшна бесцельность. Можно переносить любые испытания и преодолевать любые трудности, но только если все это имеет цель.

Кроме того, человеку очень важно самому выбирать свою судьбу. В известных случаях он может идти на заведомую гибель, но так, чтобы это исходило от него самого. Человек повсюду хочет быть хозяином обстоятельств, но не их рабом.

И я, по-видимому, тоже хотел быть господином того, что со мной случилось. Какая-то сила вырвала меня из обычной жизни людей. До тех пор, пока об этом никто не знает, я остаюсь в положении человека, попавшего под трамвай. Но я не хотел быть жертвой слепой случайности. Мне нужно было, чтобы люди знали о том, что со мной произошло, чтобы я с ними переписывался, чтобы я как-то овладел положением. Тогда все дальнейшее приобрело бы смысл. Даже моя смерть, если это ускоренное существование в конце концов меня убьет...

За этими размышлениями у меня прошел остаток того срока, который я дал Андрею Мохову, чтобы ответить на мою записку.

Честно говоря, я ожидал всего, но только не того, что он написал мне на том же листе ватмана.

Андрей склонился над столом с карандашом в руке, а Валя, полуобернувшись, стояла у двери. У нее была такая поза, будто ее что-то испугало.

Я перелез через подоконник и под своей запиской увидел две неровные строчки:

«Василий Петрович, оставь свои фокусы. Объявись. А то все-таки несолидно. Мешаешь рабо...»

Он как раз заканчивал последнюю фразу.

Помню, что это меня ужасно раздосадовало. «Фокусы! Несолидно!» Все, что я пережил и перевидел за это утро, – не более как фокусы! Ну хорошо же! Я сейчас покажу, что это за фокусы.

Потом я все-таки взял себя в руки. А я сам поверил бы, если б получил от приятеля записку, что он живет в другом времени?

Несколько мгновений я крутился по комнате между застывшими Валею и Андреем, ища, за что бы взяться. Наконец меня осенило – это же очень просто.

Я уселся за стол рядом с Андреем и просидел неподвижно минут пять.

И они оба меня увидели. Сначала Андрей, затем Валя.

Андрей стоял у стола, чуть вогнувшись. Он дописывал свое послание. Потом тело его стало выпрямляться, а голова – поворачиваться ко мне. Впрочем, еще раньше ко мне медленно скользнули зрачки.

Он выпрямлялся минут пять или шесть, а может быть, даже все десять. За это время на лице его переменялась целая гамма чувств. Удивление, потом испуг – но очень маленький, едва заметный – и, наконец, недоверие.

Все-таки поражает выразительность человеческого лица. Чуть-чуть расширенные глаза – может быть, на сотую долю против обычного, – и вот вам удивление. Прибавьте к этому чуть опущенные уголки рта – и на вашем лице будет испуг. Слегка подожмите губы – и это уже недоверие.

Удивление и испуг сменились у Андрея довольно быстро, но недоверие прочно держалось на его лице. С ним он не расставался минут пятнадцать, стоя возле меня как окаменелый, и у меня от неподвижного сидения заболела спина.

Затем он стал бесконечно медленно поднимать руку.

Он хотел дотронуться до меня, убедиться, что это не мираж.

А Валя просто испугалась. Широко открылся рот, и расширились глаза. Она начала совсем поворачиваться к двери – раньше она стояла вполоборота, – затем приостановилась и опять стала поворачивать голову ко мне. Но на бледном лице ее еще долго оставалось выражение страха.

Мне очень трудно описать, что я чувствовал, когда рука Андрея медленно, почти так же медленно, как двигается по траве тень от верхушки высокого дерева, приближалась к моему плечу.

Вообще он казался мне не совсем живым, и это впечатление как раз усиливалось оттого, что он двигался.

Странно, но это так и было. Медлительность движения как раз подчеркивала всю необычность обстановки. Если бы Андрей и Валя вовсе не двигались, они были бы похожи на манекены или на хорошо выполненные раскрашенные статуи, и это так не поражало бы.

Потом его рука легла на мое плечо. Я считал по пульсу. Двадцать пять ударов, еще двадцать пять... Две минуты, три, четыре...

У меня начал болеть еще и затылок, но я старался сидеть неподвижно.

Удивительно выглядел процесс восприятия ощущения, так растянутый во времени.

Рука Андрея легла мне на плечо. Но он еще не успел ощутить этого: на лице его было то же выражение, что и пять минут назад, хотя рука уже держала меня.

Я считал секунды. Вот нервные окончания на пальцах ощутили мою кожу. Вот сигнал пошел по нервному стволу в мозг. Вот где-то в соответствующем центре полученная информация наложилась на ту, которую уже дал зрительный нерв. Вот приказание передано нервам, управляющим мускулами лица.

И наконец он улыбнулся! Только чуть заметно начали приподниматься уголки рта. Но достаточно, чтобы выражение лица уже переменялось.

Черт возьми! Я не сразу понял, что присутствую при замечательном опыте. При опыте, доказывающем материальность мысли.

Затем вдруг его взгляд погас. Я даже не успел уловить, когда это случилось. Но слово «погас» очень точно передает то, что произошло. Он все еще смотрел на меня, но глаза стали другими. В них что-то исчезло. Они сделались тусклыми.

И голова начала поворачиваться в сторону. Как будто он обиделся на меня.

Только минуты через четыре я понял, что он просто хочет убедиться, видит ли меня Валя.

Но удивительно было, как погас взгляд. Сразу, как только он начал думать о Вале и на мгновение, соответственно, перестал думать обо мне, взгляд, все еще направленный на меня, переменялся. Сделался безразличным. То же самое глазное яблоко, тот же голубовато-серый зрачок с синими радиальными черточками, но глаза стали другими, совсем не похожими на прежние.

Что там могло произойти, когда исчезла мысль? Ведь не изменился же химический состав глазного яблока.

Может быть, мне стоило посидеть еще немного, чтобы Валя могла подойти и тоже убедиться в том, что я существую.

Но у меня сильно затекла больная нога.

В кабинете Андрея я пробыл еще около двух часов. Ни о каком непосредственном общении не могло быть, конечно, и речи.

За эти два часа Андрей окончательно повернулся к Вале, поднял руку, подзывая ее, и повернулся к тому месту, где меня уже не было. А Валя сделала несколько шагов от двери к столу. И все.

Для них мои два часа были двенадцатью секундами.

На ватмане я приписал для Андрея еще одно слово: «Пиши». И ушел.

Мне опять хотелось спать – вообще утомляемость наступала скорее, чем при нормальных условиях. На мгновение у меня мелькнула мысль улечься здесь же. Если бы я проспал часов пять, Валя с Андреем могли бы меня видеть в течение одной своей минуты.

Но потом мне почему-то стало страшно ложиться здесь, в кабинете, на диване. Ужасно глупо, но вдруг мне показалось, что эти две почти неживые фигуры, воспользовавшись моим сном, свяжут меня и что, связанный, я даже не смогу им ничего написать.

Другими словами, стали шалить нервы...

А между тем я начал замечать, что скорость моей жизни постепенно увеличивается.

Увеличение скорости

Впервые я заметил это по тому, как медленно падал нож, когда я у себя в столовой отпустил его над столом. Предметы и раньше падали очень лениво, но на этот раз нож опускался на стол еще медленнее.

Затем стало труднее с водой. Прежде мне достаточно было десяти минут, чтобы набрать стакан на кухне под краном, теперь стакан наливался минут за двенадцать-четырнадцать.

Сначала я, впрочем, не обратил на это особенного внимания.

Выспавшись и пообедав, я опять побрел к Андрею Мохову, чтобы получить наконец свидетельство того, что он поверил в мое существование в другом времени.

Действительно, на столе на чертеже меня ждала строчка:

Что мы должны делать? Нужна ли тебе помощь?

Андрей и Валя опять стояли у стола, как бы прислушиваясь к чему-то.

Нужна ли мне помощь? Да я и сам не знал, что мне нужно.

Потом я еще дважды обменивался с Андреем записками. Написал ему о том, что где-то бродит Жора, и о том, что моя скорость все время растет. Он ответил просьбой, чтобы я снова ему показался.

Еще один раз я сидел у него в кабинете два с половиной часа, и они с Валею меня опять видели. Вообще эти встречи были мучительными. Я никак не мог справиться с раздражением, которое вызывала у меня медлительность нормальных людей, и, кроме того, постоянно попадал впросак. Мне казалось, что те или другие движения Вали и Андрея имеют отношение ко мне, но на проверку получалось, что это не так. Например, Андрей начинал поднимать руку: я тотчас решал, что он собирается до меня дотронуться. Но рука шла мимо. Одну минуту, другую, третью... Тогда я начинал думать, что он хочет указать на что-нибудь. Но в конце концов через пять или шесть минут выяснялось, что он всего лишь поправлял прядь волос на лбу.

Вообще мне ни разу не удавалось догадаться заранее, что будет означать то или иное движение.

У меня было много свободного времени, и сначала я не знал, куда его девать.

Это было удивительно, но я понял, что человек просто ничего решительно не может делать только для одного себя. Даже отдыхать.

Например, книги.

Однажды я раскрыл томик Стендаля, но тотчас оставил его.

Оказывается, мы читаем не просто так, а с тайной – даже для нас самих тайной – надеждой сделаться от этого чтения лучше и умнее и это хорошее и умное сообщить другим.

Наверно, Робинзон Крузо не стал бы и братья за библию, если бы не верил, что когда-нибудь все-таки выберется со своего острова. А я как раз чувствовал себя таким одиночкой-робинзоном в необитаемой пустыне другого времени. Удастся ли мне вернуться к людям?..

Конечно, я много размышлял над тем, какая сила ввергла меня и Жору в это странное состояние, и пришел к выводу, что в моей гипотезе о шаровой молнии не было ничего невероятного. Бесспорно, что взаимодействие плазмы с реакцией деления урана могло дать излучения, по своему характеру близкие к радиоактивным, но еще неизвестные человечеству. А в том, что радиоактивные излучения способны влиять на биологические процессы жизни, никто не сомневается...

У меня было много наблюдений, и, так как я считал, что впоследствии для науки будет интересно и важно все, что испытал и видел первый человек, живущий ускоренной жизнью, я начал писать дневник.

Некоторые странички и сейчас стоят у меня перед глазами:

«25 июня, 8 часов 16 минут 4 секунды

Обследовал путь луча от стены, ограждающей электростанцию, до залива. Все живое в этой зоне живет ускоренно. Куст пионов, подвергшийся облучению, уже дал крупные цветы. Обычно они расцветают в начале июля.

Трава в зоне действия луча на два-три сантиметра выше остальной. Это хорошо видно, если смотреть издали и со стороны, например – с нижнего сука липы справа от дома.

25 июня, 8 часов 16 минут 55 секунд

Около четырех моих часов назад из дома Юшковых вышел их старший сын и сейчас идет по саду. Когда я наблюдал за ним первый раз, на каждый шаг у него уходило около трех моих минут. Теперь уходит четыре. Значит, я все время ускоряюсь.

С этим наблюдением сходится и другое. Вода стала еще более плотной. На заливе на волне я стоял, не проваливаясь, около полусекунды.

То же число и час, 28 минут

Я ударил молотком о большой камень в саду. Молоток сплюснулся в блин, как если бы он был из глины. Еще несколькими ударами я превратил его в шар.

Дерево сделалось мягким, как масло. Толстую дюймовую доску мне удалось разрезать поперек слоя так же легко, как я резал бы масло. Но при второй попытке нож затупился, и я его с трудом вытащил.

Видел в саду бабочку, которую я не мог догнать. Она от меня улетела. Это служит еще одним подтверждением того, что все живое подверглось действию силы. Но именно только живое, так как часы ходят по-прежнему.

Интересно было бы проверить, увеличилась ли скорость распространения радиоволн и электрического тока в этой зоне. К сожалению, у меня нет никаких приборов...»

Когда я несколькими ударами о камень превращал молоток то в шар, то в плоскую лепешку и делал это до тех пор, пока железо не начало крошиться, я понимал, конечно, что физические свойства металла остались прежними. И дерево, которое я резал, как масло, тоже не переменялось. Дело было в том, что невероятно увеличилась мощность моих движений.

В этой связи мне пришло в голову, что в будущем, когда человечество овладеет способом ускорения жизни, оно получит огромную дополнительную власть над природой.

Ведь если вдуматься, до сих пор вся биологическая жизнь на земле – и человек в том числе – развивалась в полной гармонии с неживой природой. И в результате человеческое тело подчиняется тем же законам силы тяжести, например, что и камень. Человек, кроме того, так же медлителен, как и большинство животных. Но ведь это не только гармония, но и рабская зависимость. Камень не держится в воздухе потому, что его удельный вес больше удельного веса воздуха, и человек сейчас тоже не может летать без специальных приспособлений.

Мыслящий человек и кусок кварца равны перед силой тяжести.

И вот теперь я первым среди людей узнал, что пришло время, когда можно будет разрушить это неестественное равенство. С помощью простых крыльев из алюминия или пластмассы человек, получивший импульс ускорения, сможет держаться в воздухе, делая несколько десятков взмахов в секунду.

Люди научатся ходить по воде. Им не страшно будет падение с небольшой высоты, потому что ускорение свободного падения покажется им бесконечно медленным.

Неизмеримо возрастут возможности производства. Металл и дерево сделаются в руках человека мягкими, как воск, не теряя при этом своей прочности для всех остальных сил природы.

Однажды после таких размышлений мне приснился сон. Какой-то удивительный, счастливый и радостный сон.

Мне снилось, будто я стою в огромном зале с дымчато-перламутровыми высокими стенами. Зал был без крыши и без левой стены. Я стоял, а передо мной – на таком же дымчатом полу – лежали свернутые рулоны чертежей, но не на бумаге, а на какой-то гладкой желтой материи. Это была моя работа, которую я только что кончил.

Слева, там, где не было стены, расстилалось море. Свирепое, грозное северное море, катившее на меня легионы крутых волн. Где-то внизу они ударяли о не видимый мною берег, и от этих ударов дрожали стены и пол здания. Небо было тоже бледным, северным, покрытым синими кипящими тучами, и только на горизонте сверкала чистая полоска начинающегося утра. Все было исполнено поражающей свежести, силы и мощи. А я, только что окончивший невероятно трудную работу, запечатленную на чертежах, ощущал себя полным и суверенным властелином этого огромного зала, где я стоял, – и моря, и неба, и всего мироздания. И я знал также, что все люди – неисчислимое множество людей где-то за стеной зала и за бурным горизонтом – были такими же, как я, гордыми властителями всего сущего...

Что-то еще снилось мне тогда, но я запомнил главным образом только гордое ощущение разделенной со всеми людьми безграничной власти над мирозданием.

После этого сна я несколько часов ходил по неподвижному поселку счастливый и даже не ощущал все время мучившего меня одиночества.

Я понял, что вся предшествующая история была действительно только младенчеством человечества, что пришло время, когда человек сможет создавать для себя не только новые машины и механизмы, но и другие физические условия существования – не те, которым подчиняется животное и мир неживых тел.

Но, впрочем, это были мои последние спокойные часы. Последние, потому что скорость моей жизни все время увеличивалась и я начал чувствовать себя очень плохо.

Примерно в девятнадцать минут девятого я заметил, что все, что в поселке двигалось, стало двигаться еще медленнее. Это означало, что я сам начал жить быстрее.

Воздух как будто бы еще сгустился, при ходьбе все труднее было преодолевать его пассивное сопротивление. Вода из отвернутого крана уже не вытекала, а росла стеклянной сосулькой. Эту сосульку можно было отламывать, в руке она долго оставалась плотной, как желе, и только позже начинала растекаться по ладони.

Мне все время было жарко, и постепенно я начал потеть. Пока я двигался, пот моментально высыхал у меня на лице и на теле. Но стоило мне остановиться, как меня сразу всего облепляло таким же желе, каким сделалась вода, но только очень неприятным.

Все это можно было бы терпеть, но меня стала мучить постоянная жажда. Я все время хотел пить, а вода текла из крана слишком медленно для меня. На свое счастье, я еще раньше догадался отвернуть кран в ванной, но за несколько моих часов вода только покрыла дно. Я знал, что мне ее надолго не хватит, и старался ограничиваться тем, что мог добыть из крана.

Удивительно, что мне тогда не пришло в голову, что я могу где-нибудь в другом котедже найти полный чайник или даже полное ведро. Мне почему-то казалось, что кран на кухне и кран в ванной – единственные источники, где можно получить воду.

Потом к жажде прибавился голод. Я уже раньше говорил, что нам с Жорой хотелось есть относительно чаще, чем в обычной жизни. Наверное, мы отдавали слишком много энергии при движении. Теперь же я почти не переставая жевал и все равно никак не мог насытиться.

А с пищей было трудно. Из ларька мне удавалось принести только три кирпичика хлеба и две банки консервов – то есть то, что можно было взять в руки. Чемоданы я не мог исполь-

зовать, потому что у них отрывались ручки, как только я за них брался, а от вещмешка остались клочья, когда я попробовал снять его с вешалки в передней. (Вообще, чем скорее я жил и двигался, тем менее прочными становились вещи.)

Но трех кирпичиков хлеба и банки бычков в томате мне хватало лишь на три-четыре часа, а затем снова надо было идти в ларек.

Я никогда раньше не испытывал такого острого, гложущего чувства голода, даже во время ленинградской блокады.

Самое ужасное было то, что я голодал с полным ртом. Жевал и чувствовал, что мне все равно не хватает, что пища не насыщает меня.

Потом голод отступил перед жарой.

Моя скорость все увеличивалась, поселок застыл совсем неподвижно. Сын Юшковых, приготовившийся делать зарядку, стоял как статуя.

Воздух сгустился до состояния желе. Чтобы идти, мне нужно было совершать руками плавательные движения, иначе я не мог преодолеть его плотную стену.

Было трудно дышать, сердце стучало, как после бега на сто метров.

Но самым страшным все-таки была жара. Пока я лежал не двигаясь, мне было просто жарко, но стоило поднять руку, как ее тотчас оплескивало как кипятком. Каждое движение обжигало, и, если нужно было сделать несколько шагов в сгустившемся воздухе, мне казалось, что я иду через раскаленный ветер пустыни.

Я мог бы все время лежать, если бы меня не мучили голод и жажда.

Но вода была дома, в ванне, а пища – в ларьке.

В этом состоянии я несколько раз вспоминал о Жоре. Неужели и он испытывает такие же страдания?

Помню, что в восемь часов двадцать две минуты я пошел в ларек.

Мне не хватит красок, чтобы описать это путешествие.

Когда я выбрался из дому, мне показалось, что, если я пойду через наш сад не по тропинке, а по траве, мне не будет так жарко. Глупо, конечно, потому что я нигде не мог укрыться от этой жары. Она была во мне, в чудовищной скорости моих движений, которые мне самому представлялись чрезвычайно медленными.

Я был обнажен до пояса, и это еще усугубляло беду. Сначала мне пришло в голову, что я локтями должен закрыть грудь, а ладонями лицо. Но оказалось, что, не помогая себе руками, я не могу пробиться через плотный воздух.

От жары я несколько раз терял сознание. Все вокруг делалось красным, потом бледнело и заволакивалось серой дымкой. Затем я снова приходил в себя и продолжал путь.

Наверно, три часа я шел до ларька.

Продавец стоял в странной позе. На его усаом лице была написана злоба. В руке он держал большой нож для мяса, которым замахнулся на полку, где стояли консервы.

По всей вероятности, он увидел, как банки бычков в томате и тресковой печени исчезают одна за другой, и решил перерубить пополам невидимого вора.

Было удивительно, что его не столько поразил сам факт этого чуда, сколько он заботился о том, как наказать похитителя.

Пока большой нож опускался, я успел бы вынести весь магазин. Впрочем, не успел.

Странно, но постепенно моя сила превратилась в бессилие.

Сорок или пятьдесят часов назад, когда мы шли с Жорой в Глушково, мне казалось, что мы чуть ли не всемогущи. Дерево ломалось в наших руках без всякого сопротивления; нам, например, ничего не стоило бы согнуть в пальцах подкову.

Но теперь, с еще большим увеличением скорости жизни и скорости наших движений, непрочность вещей обернулась другой стороной. Я ничего не мог взять, все ломалось, крошилось, расползалось у меня под руками. Я был бессилен от чрезмерности своей силы.

Я не мог уже взять с собой даже кирпичик хлеба. С таким же успехом я пытался бы унести большой сгусток водяной пены с волны.

Хлеб расползлся, как только я до него дотрагивался, и его нельзя было поднять с прилавка.

Некоторое время я стоял рядом с продавцом – он оставался таким же неподвижным – и ел хлеб горстями. Мне уже опять очень хотелось пить. Позади ларька была колонка, но, пока я открутил бы кран, начал качать и дождался воды, прошло бы два-три моих часа. Кроме того, я боялся отломать вентиль крана неосторожным движением.

Затем я взял в руки по банке консервов и побрел назад.

Я сразу перешел на свою сторону улицы, потому что этот переход был для меня самой трудной частью пути. Я боялся, что упаду и не встану, а возле забора чувствовал себя увереннее.

Проходя мимо дома Моховых, я бросил взгляд в раскрытое окно кабинета. Андрей и Валя стояли рядом и смотрели на стол. Наверно, ждали моего появления.

У меня в ушах колоколом отдавался стук сердца, и при каждом движении оглушал пронзительный свист. От страшной жажды пересохло во рту, и весь поселок то краснел, то бледнел в глазах.

Помню, с какой тоской я смотрел на своего друга. Он ничем не мог помочь мне, если бы и знал о моих мучениях. Никто из людей не мог мне помочь.

А в поселке все жило прежней мирной жизнью. Было раннее воскресное утро, люди собирались на пляж, на озера. Никто, кроме Андрея с Валея, не видел меня, и никто не знал о трагедии, которая разворачивалась здесь.

Дома я съел консервы – жесть резалась ножом, как бумага, – напился и сделал запись в дневнике:

«То же число, 25 минут 5 секунд девятого

По-видимому, скорость жизни у меня в девятьсот раз превышает нормальную. Может быть, и больше.

От шоссе по направлению к станции идут мужчина и женщина с большим красным чемоданом. Когда они дойдут до моей калитки, я уже умру».

После этого я забрался в ванну и, лежа на животе, с яростным наслаждением стал поедать густое желе – воду.

Я ждал смерти. Мне было только очень жаль, что я не сам сознательно пошел на такой опыт, что эта неведомая сила случайно захватила именно меня.

Помню, что мне в голову вдруг пришли строчки из Лермонтова:

Под снегом холодным России,
Под знойным песком пирамид...

Может быть, оттого, что меня палила эта страшная жара, я терял сознание и держался за эти стихи, как утопающий за соломинку.

Под знойным песком пирамид...

И затем я услышал стон. Человеческий стон.

Наверно, этот звук раздался раза три, пока я понял, что это такое.

Я приподнялся, отчего всю спину охватило жаром, и выглянул через край ванны.

На полу в коридоре лежал Жора. Я сразу узнал его по полосатому пиджаку, хотя этот пиджак был весь в клочьях и местами прогорел.

Это удивительно, но, видимо, человек никогда не может так заботиться о себе, как он заботится о других.

Не понимаю, откуда у меня взялись силы, чтобы вылезти из ванны и подползти к Жоре. Когда я его перевернул на спину и увидел его красное, распухшее лицо, я понял, как должен выглядеть я сам. Это было не лицо – заплывшая красная масса со щелками-глазами и черным провалом рта.

По всей вероятности, увеличение скоростихватило его во многих километрах от поселка. Он почувствовал, что труднее становится двигаться, что невозможно напиться и наесться, и испугался. Может быть, он пробовал получить помощь от людей, живущих обычной жизнью, и, когда понял, что от них нельзя чего-нибудь добиться, вспомнил обо мне.

Вспомнил и решил, что только я смогу его понять и ему помочь.

По-моему, последние метры к дому он проделал уже почти слепым, на ощупь.

Я знал, что ему нужно было в первую очередь. Втащил его в ванную и попробовал эмалированной кружкой собрать воды со дна ванны. Но кружка только состругивала длинную стружку воды, которая закруглялась в воздухе и медленно опускалась обратно на дно.

Тогда я стал собирать воду горстями и совать ему в рот. Он жадно глотал это желе.

Потом глаза его чуть приоткрылись, и вы представляете, что я увидел в них? Слезы! Слезы от боли. Он ведь был очень обожжен.

Я сорвал с его спины дымящиеся лохмотья пиджака и рубашки, втащил его в ванну и сунул щекой в остатки воды на дне.

Потом я сказал себе, что должен дать ему поесть. Я понимал, что, если не сделать этого, он просто умрет через час. Я чувствовал это по себе.

Я выгреб себе из ванны несколько горстей воды и, стиснув зубы, побрел в ларек. Не знаю, отчего, но я был уверен, что дойду туда и вернусь с консервами для Жоры.

В саду я навалился грудью на плотный воздух и пошел напролом. Грудь и плечи палило огнем.

Дойдя до калитки, я огляделся. Прохожие с красным чемоданом были метрах в тридцати от меня. Они шли тут уже так долго, что я привык воспринимать их почти как часть пейзажа. Напротив, в саду Юшковых, их сын стоял с поднятыми руками. Рядом с ним домработница Маша уже несколько часов подряд снимала с веревки пеленку.

Самое трудное для меня было пересечь улицу. Собрав все силы, я сделал первый шаг, затем второй. Помню, что я довольно громко стонал при этом... И вдруг...

И вдруг...

Я даже не сразу понял, что происходит.

В плечи и в бок мне задул свежий ветер, мужчина и женщина слева сдвинулись с места и кинулись ко мне с такой ужасающей скоростью, что мне показалось, они собьют меня с ног своим чемоданом. Пеленка вырвалась из рук Маши и птицей полетела по направлению к станции. Сын Юшкова с быстротой фокусника стал приседать и выбрасывать руки в стороны.

В уши мне одновременно ударили очень громкий звук рояля и шум прибоя на заливе.

Спящий мир проснулся и ринулся на меня.

Помню, что первым моим чувством был панический страх.

Я повернулся и опрометью бросился через сад домой.

Несколько раз я спотыкался и падал, и мне все казалось, что я бегу слишком медленно и никак не могу убежать от всех невероятно громких звуков и устрашающе быстрых движений.

На крыльце я споткнулся и больно ушиб колени, затем ворвался в кухню и, зацепив ногой за порог, растянулся на полу.

И потом в мое сознание ворвался ошеломляющий, радостный, поразительно животворный звук.

Текла вода.

Она текла из крана на кухне, она хлестала в ванне. Брызги летели в воздухе, и над эмалированным краем ванны уже поднялась красная, распухшая, ошеломленная физиономия Жоры.

Снова разговор на взморье

– А дальше? – жадно спросил я. – Что же было дальше? Вас нашли в доме?

– Дальше было много всякого. – Инженер откинулся на спинку скамьи. – Приехала жена, с которой я расстался только предыдущим вечером, нашла Жору и меня, исхудавшего, обожженного, всего в синяках и ушибах, с бородой недельной давности. Конечно, ей трудно было поверить моим объяснениям. Но позже пришли Моховы, рассказали о моих записках, о машинке, прыгавшей по столу, о моих мгновенных появлениях. А еще позднее выяснилось, что и в поселке, и на станции, и на шоссе было много свидетелей наших с Жорой приключений. Мужчина, которого Жора сбил с ног, лежал с небольшим сотрясением мозга на даче у своих знакомых. Домработница Маша видела какие-то странные тени, несколько раз пролетавшие по улице, и слышала странный свист. Машинист товарного поезда получил взыскание за неоправданную остановку поезда... Но не это самое интересное. Самое удивительное то, что все случившееся со мной и с Жорой происходило в течение двадцати минут. Может быть, двадцати одной. Понимаете, время, в течение которого можно поздороваться с соседом, спросить, как он съездил вчера на рыбную ловлю, и выкурить с ним по папироске... Если бы не мои посещения Мохова, никто бы и не знал всего того, что случилось с нами. Удивительно, верно?

– Удивительно, – согласился я. – Даже не верится. Хотя я сам слышал о привидениях на Финском заливе.

Мы оба помолчали.

На берегу уже становилосьлюдно. Позади нас, на веранде дома отдыха, официантки гремели ложками. Шли приготовления к завтраку. Звуки были по-утреннему вымытыми и чистыми.

– Но теперь уже не стоит вопрос, было это или не было, – сказал Коростылев.

– А Жора? – спросил я.

Коростылев усмехнулся:

– Пока в санатории. Говорит, что хочет поступить в вечернюю школу и стать физиком... Кто знает, может, будет человеком?

– Да... – сказал я. – Какие перспективы раскрываются в связи с этим эффектом! Например, межзвездные путешествия. Раньше мы мечтать не могли посетить другие галактики. Никаких человеческих жизней не хватило бы. А теперь, если можно ускорять жизнь, можно, очевидно, и замедлять ее. Тогда человек сможет добраться до другой галактики.

– Может быть, – согласился Коростылев. – Но нам совсем ничего не известно о тех новых революционных открытиях, которые, несомненно, последуют в ближайшие десятилетия. Таких, например, как эти лучи. В течение всей истории человека он совершенствовал только орудия труда, но ни разу не пытался сознательно улучшать тот главный инструмент, который сообщает ему власть над природой, – свое собственное тело. Собственно говоря, за четыре тысячи лет цивилизации оно осталось самым неусовершенствованным из всего того, чем мы владеем. Но теперь положение изменится. Через сто лет люди будут жить, наверное, не так, как мы это сейчас представляем.

Мы еще помолчали. Над залитым солнцем пляжем стоял неумолкающий шум прибоя. На мгновение я попытался представить себе, что волны остановили свой непрерывный ход, а чайка над берегом замерла в полете.

Хозяин бухты

...Нет, месье, это был не плезиозавр. И вообще, не из породы тех гигантских ящеров, о которых теперь говорят, будто они сохранились в болотах Центральной Африки. Совершенно особое животное... Если вам действительно интересно, я расскажу, как мы с ним встретились. Ваш самолет опаздывает на час, мой – на целых полтора. Только что объявляли по радио. По-моему, лучше посидеть здесь, в ресторане, чем жариться на солнцепеке. А мне особенно хочется с вами посоветоваться, после того как я узнал, что месье – биолог по профессии... Нет-нет, это был и не моллюск...

Итак, месье, ваше здоровье, и я начинаю свое повествование. Впрочем, простите... Что это за орден у месье в петлице? Орден Великой Отечественной войны? Значит, месье – участник войны. Тогда, если позволите, еще рюмку за ваш орден и за наших доблестных союзников... Что вы говорите?... Ах, медаль! Действительно, я участник Сопротивления и получил медаль, когда был в маки... Благодарю вас, благодарю...

Да, надо сказать, что я не в первый раз в Индонезии. Именно здесь все и произошло десять лет назад. То есть не совсем здесь, не в Джакарте, конечно. На Новой Гвинее, или в Западном Ириане, как его теперь называют.

Не буду долго рассказывать, как я там очутился. По специальности я кинооператор, и в 1950 году вышло так, что мы с товарищем отправились в Индонезию. Одна французская фирма хотела получить видовой фильм о подводной жизни в тропических морях.

В первый раз об этом животном мы слышали возле маленькой деревушки. Не то Япанге, не то Яранге, что-то в этом роде. Один папуас сказал нам, что далеко к западу от Мерауке обитает чудовище, которого еще ни разу не видел никто из белых. Что этого морского зверя невозможно ни застрелить, ни поймать в сеть и что местные жители панически боятся его и называют хозяином. Что питается хозяин огромными акулами и сильнее его нет на свете живого существа.

Нельзя сказать, чтобы мы очень к этому прислушались: папуасы большие мастера фантазировать. Но так или иначе наш маршрут шел как раз мимо Мерауке, на запад, диким побережьем Арафурского моря. И вот 15 июля мы бросили якорь возле деревни с названием Апусеу. Не знаю, что это означает на папуасском или на каком-нибудь другом наречии. Помню только, что деревушка называлась так по довольно большому острову, который лежал неподалеку.

Остров Апусеу и деревушка того же названия – тут-то нас и ожидало то, о чем я хочу рассказать... Еще по одной рюмке, месье. Ваше здоровье! Благодарю вас...

Нам было известно, что в деревне вместе с папуасами постоянно живет один белый. Мы только не знали, что это за человек – чиновник, назначенный голландскими властями, или какой-нибудь авантюрист. Во всяком случае, мы собирались попросить его помощи для съемок охоты на крокодила. (В числе всего прочего фирма потребовала, чтобы мы сняли подводную охоту на крокодила. Дурацкая мысль, не правда ли? Папуасы действительно охотятся в воде. Но в Париже никому не пришло в голову, что крокодилы-то живут в болотах и речках, где вода такая мутная, что собственных ног не увидишь.)

Помню, что деревушка произвела на нас странное впечатление. Папуасы, вообще говоря, народ шумный и общительный, но тут с моря все казалось вымершим, а на берегу это впечатление еще усилилось. Первые две хижины, куда мы заглянули, были пусты. Потом мы обнаружили несколько женщин и мужчин. Но все они выглядели чем-то запуганными, и мы от них ничего не добились. Один мужчина бормотал что-то о желтом туане и показывал на отдаленный край деревни, где одиноко стояло довольно большое для этих мест строение.

Добрались мы туда около двенадцати. Постройка представляла собой большой сарай, запертый на замок, – верный признак того, что он принадлежал белому. Рядом было несколько грядок маниока.

Мы уселись в тени и стали ждать.

В июле в тех краях стоит совершенно адская жара, месье. Сидишь не двигаясь в тени и все равно непрерывно потеешь. А этот пот тут же испаряется. То есть на своих собственных глазах сам переходишь сначала в жидкое, а потом в газообразное состояние. Противное чувство.

Прямые солнечные лучи сделали все вокруг белым, и от этой белизны болели глаза. У меня начался очередной приступ малярии, и я забылся каким-то полусном. Потом проснулся и, помню, подумал о том, как хорошо было бы очутиться сейчас в парижском кафе, в подвальчике, где прохладный полумрак и на мраморных столиках блестят выпуклые лужицы пролитого вина.

Я проснулся и увидел, что рядом стоит папуас. Крепкий парень, широкогрудый и коренастый. На теле у него была одна только набедренная повязка – чават. Да еще маленький лубяной мешочек, повешенный на грудь. В таких мешочках лесные охотники носят свое имущество.

В отличие от других туземцев он не выглядел испуганным.

Парень держал акулу в руках и бросил ее на песок.

– Пусть туаны посмотрят. Туаны никогда такого не видели.

– Чего тут смотреть? – проворчал Мишель (моего друга звали Мишель). – Обыкновенная дохлая акула.

Это была голубая акула около полутора метров длины. Мощные грудные плавники, откинутые назад, делали ее похожей на реактивный самолет. Спина была шиферного цвета, а брюхо – белое. И вся нижняя часть тела начиная от грудных плавников была у нее как бы сдвлена гигантским прессом.

Вы понимаете, месье, передняя часть рыбы осталась, как она и должна быть, а задняя вместе с хвостом представляла собой длинную широкую пластину не больше миллиметра толщиной. Как будто акула попала хвостом в прокатный стан.

– Она не дохлая, – сказал папуас. – Она живая. Петр принес живую акулу.

(Он говорил о себе и обращался к собеседнику только в третьем лице. Как офицер старой прусской армии.)

Папуас присел на корточки, вынул из лубяного мешочка нож и ткнул в жаберное отверстие хищницы. Акула дернулась и щелкнула челюстями.

Мы просто рты разинули. Вы понимаете, месье, акула была жива и в то же время наполовину высушена.

– Кто ее так? – спросил Мишель.

Бородатый папуас гордо посмотрел на нас. (Вообще папуасы не любят растительности на лице, но у этого была черная густая борода.)

– Это хозяин.

– Какой хозяин?

И тут мы вспомнили о хозяине, о котором говорил папуас из Яранги.

– Это хозяин бухты, – сказал бородатый Петр. – Он может съесть и не такую акулу. Он сожрет и ту, которая в три раза длиннее человека. Сожмет лапами и выпьет кровь.

Папуас еще раз ткнул акулу ножом. Она шевельнулась, но уже совсем слабо.

– А какой из себя хозяин? Он живет в воде?

– В воде. Он все, и он ничего. Сейчас он есть, а сейчас его нету. – Петр помолчал и добавил: – Только один Петр не боится хозяина бухты. Петр не боится ничего, кроме тюрьмы.

– Он большой, хозяин?

– Большой, как море. – Петр обвел рукой полуокружность.

– А ты можешь его показать?

– Петр все может.

Мы стали уговаривать Петра отправиться посмотреть хозяина сейчас же, но оказалось, что, во-первых, для этого нужна лодка, а во-вторых, к хозяину безопасно приближаться только завтра. Почему именно завтра, Петр не объяснил.

Потом папуас ушел, пообещав вечером принести еще одну раздавленную акулу.

Мы вернулись на шхуну, приготовили аппарат для подводной съемки и акваланги, а позже, к вечеру, отправились навестить голландца. Мы были страшно возбуждены и всю дорогу рассуждали о том, как нам повезло и какая это будет сенсация, если мы заснимем чудовище...

Месье, не знаю как кто, но я не люблю людей, которые ничему не удивляются. Я просто испытываю боль, когда вижу такого человека. Мне кажется, что своим равнодушием ко всему он старается оскорбить меня. Ведь на свете есть множество удивительных вещей, не правда ли? В конце концов, удивительно даже то, что мы с вами живем. Что бьется сердце, что дышат легкие, что мыслит мозг. Верно, а?

Белый человек, голландец, к которому мы пришли, нисколько не удивился нашему появлению. Как будто все происходило где-нибудь на улице Богомолок в Париже, а не в этом диком месте, где киноэкспедиции не было от самого сотворения мира.

Возле сарая на обрубе железного дерева сидел здоровенный детина лет сорока пяти в брюках и куртке цвета хаки. Впрочем, о цвете приходилось лишь догадываться, так как под слоем грязи его было не разобрать. У детины была рыжая борода и лысина, которую обрамлял венчик огненно-красных волос. Огромные руки он свесил с колен. Взгляд у него был неприязненный.

Рядом, на маниоковом огороде, копалась молодая папуаска с угрюмым темным лицом.

Когда мы с Мишелем подошли, детина даже не поднялся и только мрачно посмотрел в нашу сторону.

Мы поздоровались, неловко помолчали, а затем спросили, не слышал ли он о морском чудовище, которое обитает в этих краях, о хозяине.

На ломаном французском он ответил, что не слышал, а потом сразу заговорил о другом. О том, что, мол, некоторые воображают, будто в этих краях деньги сами сыплются с неба. Ничего подобного. Деньги тут достаются еще труднее, чем в других местах. Папуасы ленивы и думают только о том, чтобы нажраться саго и петь свои песни. А работы от них не дождешься, нет. Паршивенький огород вскопать и то только из-под палки.

Он начал говорить громко, а потом сбился и забормотал, как бы для самого себя, глядя в сторону.

Молодая женщина, работавшая на огороде, в это время повернулась, и я увидел, что вся спина у нее в шрамах.

– Ну а как все-таки насчет зверя? – спросил Мишель. – Нам тут показали акулу, половина которой была выжата как лимон. Вы таких не видели?

Нет, он не видел. А если и видел, то не запомнил. Он такими вещами не занимается. Акула или не акула – это еще ничего не доказывает...

Женщина снова повернулась к нам спиной, и Мишель тоже увидел ее шрамы. Рыжеволосый перехватил взгляд Мишеля и, нахмурившись, крикнул женщине по-малайски, чтобы она убиралась прочь. Та прижала к груди кучку корней маниоки и ушла за сарай.

– Да, – сказал я после неловкой паузы, – значит, этот зверь вас совершенно не интересует?

– Абсолютно, – отрезал рыжий.

Солнце уже почти закатилось за горизонт. Там, где небо смыкалось с океаном, громоздилась полоса черных туч. Над ними небо было розовым, выше – бледно-серым, еще выше – сине-серым. В джунглях немыслимым голосом кричала птица-носорог.

С ума можно было сойти от этой красоты!

По песчаному берегу, держа в руках большой банановый лист, шел папуас. На фоне розовой полосы неба он выглядел как высеченный из черного камня.

Папуас подошел ближе и оказался бородатым Петром.

– Петр принес еще акулу, – сказал он. – Петр обещал и принес.

Он бросил на песок свою ношу. Это был не банановый лист, а раздавленная акула метра два длиной. Она упала с сухим треском.

Мы с Мишелем склонились над этим чудом. Вы понимаете, месье, даже зубы были раздавлены и превратились в какое-то крошево, которое рассыпалось под пальцами. Она была так сплюснута, эта огромная рыбина, что ее можно было бы просунуть под дверь, как письмо.

– Там таких много? – спросил Мишель. – Где ты их находишь?

– Петр может принести таких акул сколько угодно. Петр смелый. Он два года учился у белых в Батавии. Петр ничего не боится, кроме тюрьмы...

Тут папуас замолчал. А у сарая стояла молодая женщина и смотрела на него.

Рыжеволосый вскочил. Он замахнулся на женщину и разразился градом ругательств. Женщина отступила на шаг, продолжая смотреть на Петра.

Голландец схватил ее за руку и толкнул в темноту. Потом он повернулся к Петру:

– А тебе какого дьявола здесь надо?

– Потихе, потихе, – сказал Мишель, поднимаясь с корточек. – Петр пришел к нам.

– Петр не пришел к желтому туану, – с достоинством сказал папуас. – Петр пришел к двум туанам. – При этом он все же отступил на шаг.

– А ну пошел вон! – закричал рыжий. – Проваливай, пока я тебе брюхо не прострелил!

Он вытащил из кармана револьвер и взвел курок.

Дело запахло убийством, и я почувствовал, что у меня вдруг вспотела спина.

– Петр придет к двум туанам на шхуну, – сказал папуас. – Завтра можно ехать смотреть хозяина. Петр придет со своей лодкой. – Он повернулся и быстро пошел прочь.

– Вот-вот, – крикнул ему вслед голландец, – близко сюда не подходи! – Он обернулся к нам: – Совсем обнаглели, свиньи! Никакого уважения к белому человеку!

– А может быть, и не надо, – сказал Мишель. Он набивался на драку.

Но детина уже не слушал его. Он бормотал что-то свое.

Мы подобрали акулу и пошли к себе. Когда мы были уже довольно далеко от сарая, сзади послышался топот и тяжелое дыхание.

– Послушайте, – сказал рыжий, догоняя нас, – послушайте, может быть, у вас на судне есть ром или виски. Я могу взамен дать копал.

– У нас у обоих язва желудка, – объяснил Мишель. – На шхуне нет ни капли спиртного.

– А-а, – сказал голландец и отстал.

Ночь я почти не спал из-за малярии, задремал только к утру, а когда проснулся, увидел, что у борта шхуны качается на волне папуасская лодка. Пока мы спускали туда акваланги и аппарат – у нас был «Пате» с девятимиллиметровой пленкой, – Мишель успел рассказать мне то, что выведал у нашего бородатого друга. Выяснилось, что все окрестные папуасы находятся здесь в полном подчинении у рыжего голландца. Он появился в этом краю сразу после войны, вооруженный, остервенелый, злой, и заявил, что будет вождем всей округи. Тотчас погнал папуасов в горы за копалом и стал забирать для себя в деревнях лучших девушек. Когда трое парней попробовали протестовать, рыжий с помощью голландских властей засадил их в тюрьму в Соронге. (По мнению Мишеля, наш Петр тоже побывал за решеткой.)

– И понимаешь, – сказал Мишель, – вот что меня озадачивает. Оказывается, этого рыжего с револьвером папуасы тоже зовут хозяином.

Тут мы посмотрели друг на друга. А что, если папуасы из Япанги, или Яранги, говоря о ненасытном чудовище, имели в виду как раз этого гнусного типа? Но раздавленные акулы! Но Петр, который явился со своей лодкой, чтобы ехать к хозяину!

Одним словом, я был несколько ошарашен этой новостью. Однако размышлять было уже некогда.

Петр стал на корме с большим однолопастным веслом – пагаём в руках. Папуасская техника кораблестроения не предусматривает в лодках скамеек, поэтому сидеть там чертовски неудобно. Кое-как мы устроились на корточках, вцепившись в борта руками.

Мне трудно рассказать, месье, о первой поездке к хозяину. Эти вещи нужно пережить, чтобы иметь о них представление.

В тех краях по всему побережью тянется полоса коралловых рифов, которые порой отстоят от берега на три – пять километров, а порой прижимаются к нему вплотную. В рифах есть проходы, иногда широкие, иногда узкие. Через эти проходы во время прилива (да и во время отлива) вода несется со скоростью электрички. Кроме того, у берега постоянное морское течение с юга на север, да еще реки, скатывающиеся с гор, да еще ветер, который тоже дует, куда ему вздумается.

Пока мы были возле шхуны, стоявшей в затиши, мы всего этого не чувствовали. Но Петр вел лодку все левее и левее от деревни, ближе к рифу, который грохотал, как десяток товарных поездов. И вот тут-то оно началось. Лодка была легкая, как яичная скорлупа, и волны делали с ней что хотели. То горизонт взлетает над твоей головой, как будто весь мир взбесился (а ты уже насквозь мокрый), то солнце вдруг очертя голову стремглав кидается вниз, а где-то возле сердца сосет и подташнивает, потому что твое чувство равновесия не поспевает за всеми этими скачками. Впереди то черная кипящая пропасть, то мощная зеленоватая стена, окаймленная белой пеной, – бесчисленные сотни тонн тяжелой соленой воды, которыми море играет шутя, как ребенок игрушкой.

Но ко всему привыкаешь, месье, привыкли и мы к этой каше. А Петр только скалил зубы на корме, глядя на наши скорчившиеся фигуры.

Так мы и плыли около часа, подошли совсем близко к ревущему рифу, обогнули песчаный мыс. И неожиданно вышли в тихую воду.

Прямо на нас медленно двигался большой скалистый остров – остров Апусеу. Теперь риф был уже позади него. Справа, примерно в километре, остался берег, где зеленые занавеси джунглей перемежались с известковыми скалами.

Вдруг сделалось тихо. Грохот рифа доносился издалека, как проходящая стороной гроза. Петр греб осторожно и внимательно вглядывался в воду. У нас с собой было двуствольное нарезное ружье «голланд» тринадцатимиллиметрового калибра. Папуас кивнул, чтобы мы его приготовили.

Сердце у меня сжалось от волнения. Хозяин был где-то здесь. Кто такой, наконец, этот зверь? На что он похож?

Мы переглянулись с Мишелем, и он облизнул пересохшие губы.

Остров Апусеу был перед нами, потом оказался слева. Это было удивительное место в том смысле, что тут совсем не было волнения. Позади, в каких-нибудь трехстах метрах, бесновались кипящие волны, у берега – мы видели это отсюда – волны пенились барашками, а тут поверхность воды была как зеркало, как кристалл. Тихое, спокойное озеро среди моря. И ничем не отделенное от моря. Какой-то каприз течений, прибоя и ветров.

Петр последний раз опустил весло, и лодка остановилась.

– Здесь, – сказал он. – Хозяин здесь.

– Как здесь?

– Пусть туаны посмотрят на берег.

Петр показал рукой на узкую песчаную кромку у подножий скал на острове. Мы туда взглянули и охнули. Десятки раздавленных и высосанных акул валялись на белом песке, и еще несколько вода качала у самого берега.

Какой там аппарат! Мы и думать забыли про съемки. Я сжимал ложу ружья с такой силой, что у меня пальцы побелели.

– А где должен быть сам хозяин? – спросил Мишель. Он перешел на шепот. – Там, на берегу?

– Здесь. – Папуас ткнул пальцем вниз, на воду. – Он здесь, под лодкой.

Мы стали вглядываться в воду, но там ничего не было. Отчетливо мы видели мелкие камешки, водоросли, всевозможных ракообразных (так отчетливо, как бывает только в очень прозрачной воде в солнечную погоду). А дальше дно уходило вниз.

Петр сделал еще несколько осторожных гребков. Теперь дна уже не было видно, под нами мерцала зеленоватая глубина.

Небольшая, сантиметров десять, полосатая рыбешка вильнула возле самой лодки, замерла на миг, а потом как-то косо, трепеща, стала опускаться и исчезла внизу, во мраке. И одновременно в воздухе раздался какой-то слабый треск. Даже не треск, а щелчок.

Мы сидели очень тихо и ждали. Ружье было приготовлено. Нам казалось, что вот сейчас со дна начнет подниматься нечто страшное.

Мишель вдруг положил руку на маску акваланга:

– Я нырну.

– Нет, – сказал Петр.

– Да, – сказал Мишель.

– Нет, – повторил Петр. – Это опасно.

– Ну и пусть. – Мишель кивнул мне. – Страхуй.

Он натянул на лицо маску, сунул в рот резиновый мундштук и перекинул ногу через борт. Через мгновение он был уже в воде, и мы видели, как он стремительно погружается, сильно работая руками.

Мы переглянулись с папуасом. Петр был испуган, но не очень. Только сильно возбужден.

Прошла минута. Мишель исчез, гроздь пузырьков поднимались из зеленоватой тьмы... Еще минута... Еще одна.

Нервы мои были напряжены до предела, месье. Надеюсь, вы меня поймете. Что-то жуткое было разлито кругом. Эта тишина, такая странная в бушующем море, мертвые скалы острова, остатки акул на песке...

Не знаю, что это со мной случилось, но после трех минут ожидания я вдруг неожиданно для себя поднял ружье и наискосок выпалил в воду из обоих стволов.

Выстрелы грохнули, и в ту же минуту мы с Петром увидели, как Мишель поднимается из глубины. Он стремился вверх отчаянными рывками, как человек, за которым кто-то гонится. Он вынырнул метрах в пяти от лодки и тотчас поплыл к нам. Я помог ему перелезть через борт, а Петр навалился на противоположный, чтобы лодка не перевернулась.

Мишель сдернул маску, и скажу вам, он был серый, как штукатурка. Несколько мгновений он молчал, стараясь наладить дыхание, потом сказал:

– Я здорово испугался.

– Чего?

Он пожал плечами:

– Сам не знаю чего.

– Но ты спустился до дна?

– Да, до самого дна.

Петр тем временем осторожными движениями стал выгребать к бурливой воде.

Мишель глубоко вздохнул несколько раз.

– Там что-то было, – сказал он, – только я не знаю что. Понимаешь, в какой-то момент стало ясно, что я не один там, в глубине. Что-то следило за мной. Что-то знало, что я здесь. Я это ощутил всей кожей. Здорово испугался.

– А что это такое было?

– Не знаю. Я опустил на дно, и сначала ничего не было. Дно как дно. Такой же песок, как везде. И отличная видимость – прекрасные условия для съемки... А потом я это почувствовал. Очень ясно. Что-то там есть.

Рыбка, похожая на окуня, мелькнула у весла. Вода возле нее вдруг помутнела, и опять раздался щелчок, который мы уже слышали. Рыбка косо пошла ко дну.

Петр кивнул:

– Хозяин позвал ее к себе.

– Как позвал? Что же такое этот хозяин? Где он прячется?

Мы накинулись на папуаса с вопросами, но он ничего толком не мог нам ответить. Вы понимаете, месье, по-малайски мы знали всего несколько десятков самых простых фраз, и этого оказалось недостаточно.

По словам Петра выходило, что хозяин иногда бывает огромным, как море, а иногда маленьким, как муравей. Но что это такое, было непонятно...

На этом, собственно говоря, и закончилась наша первая поездка к хозяину в район острова Апусеу. Довольно долго – теперь уже часа три – Петр выгребал против течения, и мы вернулись на шхуну совсем замученные. Петр сказал, что снова поедем к хозяину через день.

Вечером к нам на судно вдруг неожиданно пришел голландец. Удивительный визит, месье! Было абсолютно непонятно, зачем он пришел, этот рыжий. Появился на берегу, посигналил, чтобы за ним выслали шлюпку, поднялся на борт и уселся на бухту каната.

Даже нельзя сказать, что мы разговаривали. Просто он сидел, смотрел в сторону и время от времени начинал бормотать что-нибудь вроде того, что все папуасы, мол, свиньи и что жить в этом краю очень тяжело.

Мы с Мишелем подчеркнуто не обращали на него внимания, а занимались своим делом, то есть сортировали и упаковывали отснятую раньше ленту. Когда ветерок дул от голландца к нам, то несло такой кислой и душной вонью, что нас обоих передергивало. Видимо, этот человек не мылся и не купался в море по крайней мере год.

Мы, не сговариваясь, решили, что ни при каких обстоятельствах не пригласим его ужинать, и действительно не пригласили.

Когда он говорил, то сначала как будто бы обращался к нам и первые слова произносил явственно, но потом тотчас сбивался и переходил на свое невнятное бормотание.

Этот вонючий полусумасшедший с револьвером в кармане казался мне живым воплощением колониализма. Seriously, месье. Эта ненависть к цветным и в то же время нежелание уезжать отсюда, эта тупость и этот запах гниения...

Мы с Мишелем еще раньше подумали, что рыжий детина у себя на родине сотрудничал с гитлеровцами, наверняка был одним из моффи, как голландцы называли фашистов, и приехал в Новую Гвинею, чтобы избежать суда. Я его спросил:

– Чем вы занимались в Голландии во время войны, при немцах?

Что-то юркнуло у него на лице, и он промолчал.

А деревня на берегу выглядела совсем вымершей. Ни костров, ни песен и плясок, на которые так охочи папуасы.

Голландец ушел так же неожиданно, как и появился. Встал и полез в шлюпку. И уже снизу сказал, что хочет поехать вместе с нами к острову Апусеу. Хочет набрать там черепаших яиц.

Я ответил ему, что относительно поездки он должен справиться у Петра, а не у нас. Лодка принадлежит Петру, и он командует всем предприятием.

По-моему, голландец меня не понял. Наверно, у него в голове не укладывалось, что белый о чем бы то ни было может спрашивать разрешения у туземца.

Он еще раз сказал, что хочет набрать яиц. Ему нужны черепаший яйца, а папуасы боятся выходить в море.

Ночью мне приснился рыжий детина. Он обхватил Петра руками и ногами и сосал кровь из горла.

Мишель и я ожидали, что Петр не захочет брать голландца на остров, но папуас проявил неожиданный энтузиазм.

Желтый туан хочет поехать к хозяину? Очень хорошо. Тогда лодка пойдет не завтра, а сегодня. Пусть два туана собираются, а Петр побежит за желтым туаном. Пусть два туана торопятся, выехать надо как можно скорее.

Петр бегом отправился за голландцем, а мы принялись стаскивать в лодку акваланги, аппарат, ружья.

Рыжий детина появился почти тотчас же. Он тащил с собой большую корзину. Карман брюк у него оттопыривался. Очевидно, он в этом краю не расставался с револьвером ни днем ни ночью.

По указанию папуаса мы уселись в лодку. Мишель – на носу, затем я, потом голландец и, наконец, сам Петр на корме. Все сели лицом к движению. Папуас принес еще одно весло, и я должен был помогать ему грести. Кроме того, Петр спросил, есть ли у нас динамитные патроны. Мы взяли с собой три штуки.

На этот раз Петр гнал лодку так быстро, что в район острова мы добрались минут за тридцать. Снова сильно качало, и голландец за моей спиной всякий раз ругался при сильных ударах волн. Снова волнение прекратилось, когда мы оказались вблизи острова. Опять поворачивались перед нами белые скалы, у подножия которых валялись остатки пиршеств чудовища.

Но тихое озеро среди моря было теперь несколько другим. Вода рябила. Какие-то птицы с криком носились над нами. Повсюду слышалось характерное потрескивание. И пузыри, месье. В разных местах под нами возникали гирлянды крупных пузырей, торопились к поверхности, здесь собирались в гроздь и лопались.

Казалось, море дышит.

Во всем этом было какое-то ожидание, какая-то тревога. И мы эту тревогу почувствовали.

Мишель вынул из кармана динамитный патрон, я взялся за ружье. Петр на корме пристально вглядывался в воду, глаза у него заблестели.

Голландец отложил корзину в сторону и сунул руку в карман. На лице у него появилось выражение тупой недоуменной подозрительности.

То, что произошло дальше, заняло не больше двух минут.

Петр вдруг поднял весло и с силой ударил плашмя по воде. Мы еще не успели удивиться, как вдруг прозрачная вода начала мутнеть, в глубине обозначились какие-то ветвистые белые трубки, которые тянулись к лодке. И одновременно раздалось сильное щелканье. Как будто кто-то ударил бичом.

Вода сделалась еще темнее, побурела. Лодку сильно толкнуло. Вода загустела, на наших глазах она превратилась в какое-то желе, а через мгновение это была уже вообще не вода, а что-то твердое, живое.

Месье, в это трудно поверить, но лодка вдруг оказалась лежащей на живой плоти, на чем-то гигантском теле, бесформенном, безглазом, безголовом, которое корчилось под нами и пыталось схватить лодку, но только выдавливало ее наверх.

Сзади раздалось ругательство рыжего, затем мои уши ожег револьверный выстрел. Я услышал чей-то слабый крик.

Но ни я, ни Мишель не могли оглянуться: лодка так накренилась, что мы чуть не вывалились наружу, в объятия этой плоти, которая корчилась под нами.

Мишель схватился за борта, а я уперся дулом ружья во что-то упругое, пульсирующее. Это упругое вдруг подалось под моим напором и потянуло ружье. Я бросил ружье и попытался оттолкнуться руками от этой плоти и так боролся какие-то мучительные мгновения, стараясь сохранить равновесие. А скользкие мускулы ходили под моими ладонями.

В этот момент чья-то рука схватила меня за волосы и потянула вверх.

Тут же надо мной мелькнуло тело Мишеля в стремительном изгибе.

Где-то неподалеку раздался грохот взрыва. Я понял, что Мишель кинул динамитный патрон.

И тотчас все быстро пошло обратным порядком. Бурая плоть превратилась в желе. Желе мгновенно растаяло. Лодка выпрямилась. Вокруг снова была вода, мелькнули и пропали белые трубки.

Прошло две или три секунды – и лодка уже качалась на спокойной, прозрачной воде.

Хозяин появился, и хозяин исчез.

Мы с Мишелем, тяжело дыша, смотрели друг на друга. Мы были так ошеломлены случившимся, что не сразу поняли, что на нашей лодке что-то изменилось. Но что? Почему нас только трое, а не четверо?

Рыжего голландца не было.

Мы повернулись к папуасу.

Он развел руками:

– Желтый туан упал. Петр хотел вытащить желтого туана, но хозяин взял его к себе.

Тут Мишель вдруг вздохнул, глаза его расширились.

Я взглянул туда же, куда уставился он, и почувствовал, что все волоски у меня на коже встают дыбом, один отдельно от другого.

Месье, я был на войне и видел много страшных вещей, но такого я не видел никогда.

Внизу, под лодкой, немного в стороне, медленно опускалось что-то похожее на большой лист бумаги, вырезанный в форме человека. Там было все – и рыжая борода, и розовое лицо с рыжим пушком на макушке, и куртка, и брюки цвета хаки. Только все это было не толще газеты, и, как мокрая газета в воде, все это складывалось и сминалось, опускаясь на дно.

«Хозяин взял его к себе».

У меня к горлу подступила тошнота, и я присел, чтобы не упасть.

Следующие несколько часов как-то выпали у меня из памяти. Помню только, что в лодке открылась трещина и мы с Мишелем по очереди откачивали воду футляром киноаппарата, а Петр все взмахивал и взмахивал своим пагаём. Потом был пляж, деревня, Петр, окруженный толпой папуасов, которых вдруг оказалось очень много в деревне...

Окончательно мы пришли в себя только на борту шхуны. Пришли в себя и принялись обдумывать то, что видели. Нас не занимала смерть рыжего негодяя, нет. Этот человек заслужил свое. Мы думали о том, что такое хозяин.

Вы понимаете, месье, гигантское животное – а оно было именно гигантским, поскольку, в то время как мы боролись в лодке, живая плоть простиралась на несколько метров кругом, – это животное не поднялось со дна. Просто вода превратилась в живое тело.

Оно не пришло к нам. Оно стало, а затем его не стало. Оно ассоциировалось как будто бы из ничего, а затем растворилось, распалось на какие-то мельчайшие, даже микроскопические частицы.

Сначала оно возникло и образовало эти белые трубки, мышцы страшной силы, способные раздавливать кости, а потом, когда Мишель бросил заряд, оно снова превратилось в прозрачную воду.

Я много размышлял об этом впоследствии, когда мы уже покидали Индонезию. Может ли существовать животное, которое состоит из отдельных частей, объединяющихся в случае необходимости? Ведь мы привыкли к тому, что животные – это всегда цельный, неделимый организм. Мы привыкли, что делить организм на части означает убивать его.

Все это так, месье, но я пришел к выводу, что у нас тем не менее есть животное, которое состоит из отдельно существующих частей. Муравей... То есть, простите, как раз не муравей, а муравейник. Муравьиная семья.

В самом деле, что такое отдельный муравей? Можем ли мы считать его самостоятельным организмом, отдельным животным? Чтобы ответить на этот вопрос, зададим себе сначала еще один: а что же такое животное?

По моему разумению, месье (я ведь не специалист), животное – это такой организм, который способен к самостоятельному существованию, хотя бы и паразитическому, и участвует в акте продолжения рода. Конечно, это не полное и не научное определение. Но так или иначе животным мы называем то, что живет, то есть питается – так или иначе поддерживает свою жизнь, – и что воспроизводит себе подобных.

Так вот, с этой точки зрения отдельно взятый рабочий муравей не есть животное. Ведь он не участвует в продолжении рода. Не воспроизводит себе подобных. Только обслуживает матку. Он как бы мускул муравейника, его рабочий орган, точно так же как муравьиная матка является органом воспроизводства.

Ведь если б матка была обыкновенным животным, ей следовало бы рождать только самцов и таких же маток, как она сама. Так ведь получается у львов, у свиней, у кого угодно. Но матка рождает еще и бесполов, бесплодных рабочих муравьев и солдат. Другими словами, она создает еще и отдельно существующие рабочие и защитные органы своего тела. Рождает мускулы.

Таким образом, я хочу сказать, что муравейник – это организм, который состоит из отдельно существующих частей. Причем это не механическое собрание отдельных единиц. Именно организм, который всегда действует согласованно и управляется общим и очень сложным инстинктом.

Мне кажется, что именно таким же было и чудовище, с которым мы встретились у острова Апусеу.

По-видимому, хозяин – это животное, состоящее из невообразимо большого числа микроскопических частиц (то, что они микроскопические, доказывается прозрачностью воды возле острова). В состоянии покоя частицы пребывают взвешенными в воде. Но когда животное приступает к охоте, по какому-то сигналу взвешенные частицы мгновенно объединяются и образуют стальные мышцы, которые схватывают и сдавливают добычу, создают трубки, которые высасывают из жертвы кровь и соки, образуют аппарат, который с фантастической быстротой распределяет пищу и наделяет ею каждого участника охоты.

Вы понимаете, по всей вероятности, животное, когда оно голодно, реагирует на появление в своей среде инородного крупного тела, например акулы. И нашу лодку оно тоже приняло за акулу. Пожалуй, нас спасло только то, что папуасские лодки имеют очень малую осадку. Хозяин попытался ее схватить, но вместо этого выдавил на поверхность.

Папуас из Яранги, который первым рассказал нам о чудовище, был прав, утверждая, что его нельзя ни застрелить, ни поймать в сеть. Попробуйте попасть в него пулей или поймать, если животное просто перестает существовать в качестве целого в момент опасности...

Мы много думали с Мишелем о том, как могло возникнуть и развиваться такое чудовище. Наверно, вначале были какие-то «водяные муравьи», которые в процессе эволюции, приспособившись к окружающей среде, делались все мельче и мельче и дошли наконец до микроскопических размеров. И вместе с этим шел процесс специализации. Одни из этих мельчайших существ стали служить только для того, чтобы в нужный момент составлять трубки, другие –

мускулы и так далее. И тогда они уже окончательно утратили самостоятельность, перестали быть организмами, а сделались одним организмом.

Очень может быть, что где-то на дне в бухте у острова прячется и общая матка этого животного, которая и сейчас порождает и порождает миллионы составляющих его частиц...

Что вы сказали?.. С муравьями? Да-да, я тоже задавал себе этот вопрос. Муравьи тоже охотятся скопом. Особенно тропические муравьи. Нападают и раздирают на части даже довольно крупных животных. Но разница в том, что муравьи при этой охоте не образуют никакой структуры. А хозяин, насколько я все это понял, образует.

Вообще говоря, все это сложные и интересные вопросы, месье. Иногда я думаю о том, какие удивительные и принципиально новые формы жизни могут быть еще открыты наукой. Пожалуй, где-нибудь в космосе, в других мирах, людям могут встретиться и такие организмы, которые смогут ассоциироваться и возникать из мельчайших частичек и диссоциироваться в случае необходимости. И не обязательно они окажутся низшими животными. Возможно, это будут и мыслящие существа...

Вы не согласны? Мозг... Да, возможно. Действительно, мыслящее существо должно иметь мозг. Но тогда это могут быть животные с чрезвычайно сложным и развитым инстинктом. Такой сложности, что мы даже и представить себе не можем...

Я не утомил вас этим рассказом? Нет?.. Благодарю вас. Но мне все равно осталось рассказать уже очень мало.

Мы пробыли в этой деревне еще три дня. Экспедиция должна была заканчиваться, и срок, на который мы зафрахтовали наше суденышко, тоже истекал.

Удивительно переменялась деревня после гибели голландца. В тот же вечер на берегу зажгли костры. Из хижин вышли папуасы, множество молодежи. Начались песни и танцы. И все радостно кричали о том, что хозяин умер.

Утром на шхуну пришел Петр. Вид у него был несколько смущенный. Он поздоровался с нами, пожал нам руки, а затем спросил, не можем ли мы написать ему бумагу. Какую бумагу? Зачем?

Выяснилось, что, если в деревне не окажется написанного белыми документа о том, что голландец погиб в результате несчастного случая, половина жителей будет арестована и посажена в тюрьму.

Месье, положи руку на сердце, я не могу сказать, был ли тут виноват несчастный случай. Я слышал за спиной выстрел. Кроме того, Петр как-то слишком заторопился, когда узнал, что рыжий поедет с нами. Как будто хотел попасть к определенному часу.

Все это – с одной стороны. Но с другой... Одним словом, мы написали такой документ. И чтобы не создавать трудностей для следствия, не стали упоминать ни о выстреле, ни о крике. В конце концов вся история с рыжим голландцем была суверенным делом жителей деревни...

Были ли мы еще раз у хозяина?.. Нет, не были. Это оказалось просто невозможным. Папуасы устроили пир, который длился все время, что мы там оставались, и должен был длиться еще неделю. Петр праздновал свадьбу с той самой молодой женщиной, которая... Одним словом, вы понимаете с какой. Да кроме того, нам самим, честно говоря, не очень хотелось ехать тогда к острову. Слишком живы были воспоминания о том, что чудовище сделало с голландцем. Мы теперь собираемся отправиться на остров. Вот сейчас. Мишель ждет меня в Мерауке.

Но я не сказал вам еще об одной детали. Вы понимаете, когда мы, испуганные и потрясенные, возвращались в тот второй раз, Мишель, оказывается, набрал фляжку воды из бухты.

Мы вылили эту воду в стакан и поставили на стол в каюте. Месье, в тропиках открытая вода зацветает буквально через несколько часов. Но эта вода не зацветала. Прошел день, другой, третий, а вода в стакане оставалась такой же кристально прозрачной. И стенки стакана

на ощупь были даже холодными – это при сорокоградусной-то жаре. В конце концов Мишель взял да и сунул туда палец. И представьте себе...

Месье, простите! Это ваш самолет. Да-да, осталось пять минут. Бегите! Бегите!.. Нет, позже. Я просто напишу вам. Бегите, а то вы не успеете... Месье, спасибо, что вы меня выслушали! Нет, бегите!.. Взаимно, месье, взаимно... Да, обязательно. Я записываю. Напишу сразу, как вернемся... Записываю. Москва... Так... Так... Я вам непременно напишу.

До свиданья!

Ослепление Фридея

Иногда мне просто хочется кусать себе пальцы, когда я думаю об этом, – так глупо все получилось. То есть, конечно, я и так не маленький человек. Если я с женой появляюсь в концертном зале – у нас в городишке недавно сделали концертный зал, – по рядам проносятся: «Бескер на концерте», и многие привстают в креслах, чтобы поймать мой взгляд и поздороваться. Но это все не то. Если б Фридей не совершил своего дикого поступка, я бы уже не жил в этой дыре. Ворочал бы миллиардом, как Рокфеллер. Шутка судьбы, да?..

Собственно говоря, мои отношения с Фридеем можно разделить на два этапа. Университет и после университета. После университета он меня и подвел так трагически.

Я его знал давно. Мы, собственно, были земляки, потом учились на одном курсе в университете и как-то в течение двух семестров даже жили вдвоем в одной комнате. Многие считали его талантом, но, по-моему, это раздуто. Конечно, он был усидчивым и посвящал занятиям больше времени, чем мы все. Редко принимал участие в разных вечеринках и не был членом ни одного из наших студенческих объединений. Но мне даже не кажется, что это из-за того, что он был так уж предан науке. Просто у него, по-моему, как-то не хватало жизненной силы, чтобы танцевать ночи напролет или гоняться на автомобиле из одного города в другой. Кроме того, он и не пользовался популярностью на факультете. Не блистал остроумием, одевался плохо, а если и попадал случайно куда-нибудь в компанию, то сидел целый вечер где-нибудь в углу неподвижный. Другими словами, ему и нечем было заниматься, кроме как наукой.

Вообще, честно говоря, я не верю во все эти разговоры о таланте и гениальности. Когда речь идет о великих открытиях, на девяносто процентов все решает случай. Взять, например, пенициллин. Если бы у Александра Флеминга в чашку с культурой не попала случайно плесень, до сих пор не было бы никакого пенициллина и о самом Флеминге мы думали бы не больше, чем о прошлогоднем снеге. А теперь он считается гением и благодетелем рода человеческого.

То есть бывают, конечно, люди, которые в восемнадцать-двадцать лет выступают уже с какими-нибудь своими всеобъемлющими теориями. Вроде Эйнштейна, скажем. Но Фридей-то как раз не был таким. Никаких особых теорий у него не было, или, во всяком случае, никто не слышал, чтобы они были. Просто он сидел целые дни в физической лаборатории, с помощью призмы разлагая свет, или валялся в общежитии на койке, расставив на полу стопки книг.

А на самом-то деле он был даже туповат. Уж наверняка тупее меня. Никак не мог запомнить, например, с какой стороны нужно чистить апельсин, чтобы шкурка легче снималась. Я ему раз десять объяснял, что с той, где плод прикрепляется к ветке. Но как только апельсин попадал ему в руки, он обязательно начинал чистить его неправильно. Глупо, верно?.. Так что о какой-то гениальности Фридея не может быть и речи.

Между тем в целом-то я ему симпатизировал. И даже жалел его после той истории, которая у него случилась с Натти. Дело в том, что Фридей вообще не пользовался успехом у девушек. Это и неудивительно, если учесть, что он не умел ни танцевать, ни водить машину, а каждое слово из него приходилось вытаскивать чуть ли не клещами, как искривленный гвоздь из доски. Но он был довольно высок ростом, держался прямо, и его усидчивость создала ему какой-то ореол учености. Так или иначе, всем на удивление, его полюбила Натти Паерлс, лучшая партия в нашем городе. Веселая и живая, она, кроме того что была дочерью самого крупного в наших краях человека, отличалась еще одной особенностью – у нее были огромные и совершенно фиолетовые глаза. Многие ребята в университете не отказались бы видеть ее своей женой, и, конечно, то, что она предпочла всем Фридея, выглядело полным идиотизмом. Поэтому мне даже кажется правильным появление того письма. Когда Натти и Фридей стали встречаться каждый день и прошел слух, что у них уже все сговорено, кто-то послал старому

Паерлсу письмо, где было сказано, что у Фридея плохая наследственность, поскольку отец сумасшедший. Хотя письмо было анонимное, старик Паерлс проверять ничего не стал, а просто увез дочь в Европу. В университет она больше не вернулась и года через два вышла замуж за какого-то банковского туза в Неваде.

На Фридея все это произвело, кажется, очень мало впечатления. Единственное, что можно было по нему заметить, так это то, что он как-то побледнел. Он родился и вырос на ферме, и первые три года в университете на щеках у него так и оставался степной загар. Но после истории с Натти он побледнел и таким бледным уже и остался на все те годы, что я его знал.

О Натти потом ходили слухи, что она несчастлива в браке и что однажды ее видели совершенно пьяной в каком-то отеле в Чикаго. Лично меня это как-то успокоило. В свое время я тоже прицеливался на Натти, но что же я теперь стал бы делать с женой-пьяницей?..

Первое свое открытие Фридей сделал... или, вернее, на первое свое открытие Фридей наткнулся, когда был еще студентом четвертого курса. Об этом в «Университетском вестнике» была статья с длинным названием. Что-то вроде «Образования пары вещества из лучей гамма-радиа при прохождении через сильное магнитное поле». А может быть, это звучало немного иначе и имелись в виду лучи не гамма-радиа, а световые... Во всяком случае, речь шла об опытном доказательстве теории Дирака. Насколько мне помнится, на факультете это никого не заинтересовало, за исключением двух-трех преподавателей физики.

При зарождении его второго, так сказать, «открытия» я присутствовал сам. В это время – на пятом курсе университета – нас как раз поселили в одной комнате. Однажды вечером я зашел в физическую лабораторию, чтобы взять у Фридея ключ, – свой я где-то потерял. Фридей сидел над рисунком, который он сделал сам. Это были прочерченные на пестром поле прерывистые, строго концентрические окружности. При долгом взгляде они казались спиралью, а при коротком – выглядели окружностями, как это и было на самом деле. Фридей освещал рисунок искрой и следил, сколько времени нужно, чтобы глаз начинал видеть спираль вместо окружностей. Глаза у него уже устали, и он попросил меня несколько раз взглянуть на рисунок, в то время как сам освещал его искрами разной длины. Потом он сказал, что в голове у него есть прибор, который мог бы с большой точностью определять потребное глазу время, чтобы начать видеть неистинное изображение вместо истинного. Такой промежуток он называл «единицей инерции зрения» и считал, что она у каждого человека разная. Прибор этот под названием «Инерциатор Бескера – Фридея» теперь широко известен в медицине, применяется всеми врачами-офтальмологами, так что я не буду его описывать.

Тогда, в тот вечер, разговаривая о приборе, мы пошли к нам в комнату и Фридей набросал мне чертеж. Принцип действия прибора я понял так быстро и легко, что мне сразу пришло в голову, что я и сам мог бы изобрести такой же, если б вообще задумывался над тем явлением, которое Фридей называл «инерцией зрения».

Целую ночь мы обсуждали чертеж, и, по-моему, я тоже внес в него кое-какие усовершенствования. В предполагаемой конструкции была одна сложность, которую мы сначала никак не могли решить. Пять предложенных Фридеем вариантов я отверг, а шестой показался мне, как, впрочем, и ему, удовлетворительным. Оба мы очень устали, но тем не менее утром я сказал, что было бы неплохо еще сегодня зарегистрировать *наше детище* в Бюро патентов. Фридей согласился. Вообще надо сказать, что его обычно интересовала только чисто научная сторона той или иной проблемы.

После этого наступила, так сказать, золотая пора научной деятельности в университете Фридея и моей. Неожиданно для себя я обнаружил большие способности к физике. Метод творчества вдвоем выглядел у нас так: обычно мы ложились вечером на койки и Фридей начинал излагать мне идеи, которые у него накопились за годы затворничества в лабораториях. Если я чего-нибудь не понимал, он принимался объяснять это мне, и таким образом те или

иные положения уточнялись для него самого. Затем, благодаря своей способности обобщать, я отбирал наиболее существенное из мыслей Фридея и понуждал его думать именно в этом направлении. Те идеи, которые он высказывал при мне, я считал как бы *нашими общими*, в дальнейшем надзирал над ними и подбадривал Фридея ставить новые опыты. Так нами был написан «Этюд о происхождении „слепого пятна“ в глазу» и созданы приборы для зрительного определения квантовой прерывной природы света и для определения величины порога зрительного раздражения.

Не скрою, что на факультете нашлись завистники, которые утверждали, будто я лишь примазываюсь к открытиям Фридея. Но в действительности это было не так. Во-первых, уже тот факт, что я так легко понимал мысли, высказываемые Фридеем, показывает, что я тоже мог бы к ним прийти. А во-вторых, многое из того, что осенило Фридея, являлось ему только в результате соприкосновения со мной. Он рассказывал мне и начинал вдохновляться сам. Я бы сказал, что он высекал искры именно ударом о меня.

Кроме того, напомним, что вообще-то Фридей был весьма недалеким парнем. Как раз тогда я в этом и убедился. Поскольку мне хотелось, чтобы он лучше отдыхал, я сделал попытку ввести его в свою университетскую компанию и несколько раз знакомил его с хорошенькими девушками. Но с этими знакомствами он меня только конфузил. Однажды, например, он доказал свою тупость, когда мы пошли в кино и специально для него я пригласил одну очень умную девушку. Мы смотрели какой-то французский фильм. «Удары судьбы» или «Тяжелые удары», с Симоной Сеньоре в главной роли. Когда мы возвращались к себе, девушка стала объяснять, что в этой картине она видит влияние экзистенциализма, фрейдизма и еще какого-то «изма», которого я не помню. Одним словом, настоящий разговор об искусстве, профессиональный и в то же время вполне светский. И что же, вы думаете, выкинул Фридей? Он вдруг остановился посреди тротуара, вперился в эту девушку злобным взглядом и сказал:

– Но неужели вы не понимаете, к чему призывает этот фильм?

И ушел, оставив нас на месте окаменелыми. Идиотизм, верно? Уж если не разбираешься в искусстве, молчи...

Вообще на последнем курсе университета характер у него стал заметно портиться.

Он и так был довольно угрюмым типом, а после истории с Натти эта угрюмость возросла. Кроме того, он постоянно испытывал денежные затруднения. На факультете он был совсем одинок, за исключением меня, не дружил ни с кем, да и мне бывало порой нелегко выдерживать его вспышки плохого настроения.

Но при всем этом наша научная деятельность шла вперед, и даже мой отец поверил, что передо мной открывается карьера крупного ученого. Если я видел, что Фридей начинает злиться, когда я слишком часто произношу «наша теория» или «наш способ», я давал ему возможность совершенно самостоятельно напечатать что-нибудь в научном журнале и, клянусь, не испытывал никакой ревности.

Но тут дурацкий случай все разрушил.

У нас в университете было студенческое мужское объединение «Альфа-Лямбда», и тот, кто хотел стать его членом, должен был пройти целую серию испытаний. Самым глупым было одно, заключавшееся в том, что абитуриенту следовало украсть что-нибудь, обязательно вскрыв при этом чемодан. Один из первокурсников, стремившийся в «Лямбду», не нашел ничего лучшего, как забраться в мой чемодан, когда ни меня, ни Фридея не было в комнате. На мое несчастье, он наткнулся на копию того письма, которое когда-то было послано отцу Натти.

Само собой разумеется, копия еще ничего не доказывала. Во всяком случае, для непредубежденного свидетеля. Если бы у меня в чемодане нашли рукописную копию «Гамлета», было бы глупо утверждать, что я Шекспир, не правда ли? Но у каждого заметного человека есть недоброжелатели и завистники. Одним словом, дело раздули, и... Короче говоря, я ушел из университета.

Интересно, что именно Фридей отнесся к случившемуся с полным равнодушием.

Когда я пришел в нашу комнату, чтобы забрать свои вещи, он как раз был дома. Он сидел у стола и, закусив губу, что-то очень быстро записывал на листе бумаги. Я начал было объяснять ему, что копия письма попала ко мне случайно, но он прервал меня, махнув рукой:

– А, плевать!

Теперь, оглядываясь на прошлое, я прихожу к выводу, что добровольный уход из университета был одним из самых перспективных и дальновидных поступков моей жизни. В сущности, я не ученый по натуре. Чтобы стать новым Максом Планком или Робертом Вудом, мне недостает смирения перед фактами. Обычно я всегда старался стать *выше фактов*, добытых опытным путем, и только добросовестная, но несколько скучноватая усидчивость Фридея как-то осаживала меня.

В то же время в другой области – в сфере руководства и координации – я чувствую себя вполне на месте. Как только я начинаю координировать и указывать, я сразу делаюсь умнее, содержательнее и интересней. Возможно, это зависит от того, что в этой сфере приходится иметь дело не столько с фактами, сколько с *мнениями*.

Так или иначе, я покинул тогда университет, уже через год стал руководителем отдела рекламы в фирме отца.

Фридей тоже вернулся в наш город, но мы не встречались. Краем уха я слышал, что он устроил себе небольшую лабораторию, где занимается проблемами света. Несколько раз он печатал статьи в специальных журналах, и однажды мне сказали, что им получена какая-то очень почетная премия от Общества врачей-глазников. Позже стали говорить, что он сделался совсем нелюдимым и живет один.

А потом, через пять лет после того, как мы с ним расстались, он вдруг пришел ко мне. Вот в этот раз он меня и подвел самым жутким образом.

Я очень хорошо помню его появление. В тот день – в середине августа – над городом стояла жуткая жара, и я, поскорее закончив дела в конторе, приехал домой уже к четырем, выкупался, переоделся и поднялся в зал к жене и детям, с которыми я, как правило, провожу послеобеденный час.

Я только собрался послушать, как мой младший читает стишок о козленке, заданный ему в школе, как вошел Форбс и сказал:

– К вам посетитель, сэр.

(Форбс – это мой лакей. То есть на самом деле его зовут как-то иначе, но для меня он Форбс. Это мое правило – лакей, который меня обслуживает, зовется Форбсом.)

Я сказал:

– Но вы знаете, Форбс, что я принимаю только в конторе. Есть специальные часы.

– Он говорит, что он ваш знакомый, сэр. Его зовут Фридей.

И тут меня кольнуло в сердце. Вы понимаете, Фридей! Интуитивно я почувствовал, что это неспроста. Все-таки Фридей знал меня достаточно хорошо, чтобы понимать, что без дела приходить ко мне не имеет смысла.

Я извинился перед Эмилией, потрепал своего младшего по щеке и спустился на первый этаж.

Вестибюль у меня в доме большой, просторный и сделан в готическом стиле. Свет от высоких окон падал прямо на Фридея. При первом же взгляде меня удивило, как он похудел. Пиджак висел на его костях, будто на вешалке.

Когда я вошел, он повернул голову:

– Джим?

– Да, – сказал я.

Голос у него был хриплый, а лицо поражало какой-то странной неподвижностью. Он сделал несколько шагов ко мне и вдруг споткнулся о край ковра. На миг я даже подумал, что он пьян.

– Послушай, – сказал он, подходя, – мне нужно помочь. Мне нужно, чтобы ты мне помог.

– Да? – спросил я.

Дело в том, что я ненавижу неудачников. Неудачнику как ни помогай, все равно это не принесет ему пользы. Я с этим уже несколько раз сталкивался. Но Фридей, несмотря на свою бледность и поношенный костюм, не выглядел неудачником. Наоборот, в нем было даже что-то гордое. И кроме того, я помнил о наших работах в университете и о той премии, которую он получил от Общества врачей-офтальмологов.

Поэтому я осторожно добавил:

– А в чем дело?

– Поедем сейчас ко мне, – сказал он. – Я тебе покажу одну штуку. Кажется, я этого добился – видеть в темноте. Едем скорее.

– Как? Сейчас?

– Да, сейчас, – сказал он нетерпеливо.

Не знаю, как кто-нибудь другой поступил бы на моем месте, но я люблю скорые решения. Мы сели в машину и поехали.

Фридей жил в западном районе. Автомобиль мы оставили у дома и поднялись на четвертый этаж.

Фридей ввел меня в первую комнату, где окна были плотно задернуты толстыми черными шторами, и сказал:

– Ну вот, смотри.

– Как смотреть? Я же ничего не вижу.

Действительно, из-за этих штор кругом стоял почти непроницаемый мрак.

– Ах да! – сказал Фридей. – Сейчас я сделаю. – В темноте он подошел к окну и отдернул штору. – Посмотри на этот агрегат. Я над ним работаю три года.

Передо мной был большой длинный лабораторный стол, на котором стояло что-то вроде реостата. От него несколько проводов шло вверх к потолку, где на крюках был укреплен небольшой металлический ящик с присоединенным к нему на гибком шланге отражателем. Отражатель был похож на троллейбусную фару, только побольше.

– Что это такое? – спросил я.

– Сейчас. – Фридей возился с проводами. – Сейчас я тебе продемонстрирую, а потом объясню. Стань вот сюда.

– Куда?

– Вот сюда. – Он показал мне под отражатель. – Не бойся. Это совсем безопасно.

– Я и не боюсь, – сказал я неуверенно.

Я стал на указанное место, а Фридей положил руку на рубильник, смонтированный рядом с реостатом.

– Спокойно.

Он включил рубильник, и я чуть не вскрикнул. Черт возьми, тут было чего испугаться! У меня вдруг стало *пусто в глазах*. Даже трудно описать это ощущение. Я перестал что-либо видеть, и глаза мне заволокло светом. Красным светом, ровным и несильным. Примерно так, как бывает, если нырнешь с открытыми глазами в мутной воде, ярко освещенной солнцем. Только тогда свет, конечно, зеленовато-желтый. А здесь он был красный. Как будто я смотрел на огромный – во все поле зрения – светящийся экран. Я закрыл лицо руками, затряс головой, а в глазах сиял тот же свет, который как бы проходил через мои ладони, через веки, через все. Как будто он был во мне самом, в моей голове, что ли.

– Что за черт! – вырвалось у меня.

– Спокойно, – донесся до меня голос Фридея. – Не бойся ничего. Сейчас я немного увеличу силу тока. – (Я услышал, как он шагнул куда-то в сторону.) – Это не опасно.

Красный свет делался все ярче, как будто у меня в глазах было раскаленное железо. Яркость возросла, уже стало больно глазам.

– Сделай шаг в сторону, – сказал Фридей.

Я шагнул в сторону, и свет исчез. Я снова был в комнате, и только по стенам плавали бурые пятна, как бывает, если помотришь на солнце.

– Черт! Что это за штука?

Фридей чуть заметно усмехнулся. Даже не усмехнулся, а просто коротко выдохнул через нос. Потом он вынул из кармана сигарету, спички и закурил.

– Это лучи, – сказал он, – «Лучи-В», так я их назвал. Ты стоял под лучами.

– Что же это за лучи? – спросил я. Глаза у меня все еще болели.

– Ты и сам должен был бы догадаться, в чем тут дело, – сказал Фридей. – Мы же занимались этим в университете. Светом и строением глаза.

Потом он объяснил мне суть своего открытия.

Как известно, свет распространяется волнами. Длина их бывает разная – от тысячных долей миллимикрона (миллимикрон – одна миллионная доля миллиметра), как у гамма-лучей, например, до десятков километров, как у радиоволн, которые тоже принадлежат к световым явлениям. Из всего этого практически бесконечного диапазона наш глаз воспринимает только маленький участок – волны с длинами примерно от 400 до 700 миллимикрон. Это и есть то, что мы в быту называем светом, наш видимый спектр от фиолетового цвета через синий, голубой, зеленый, желтый и оранжевый до красного. Ультрафиолетовые лучи мы уже не видим, точно так же как и инфракрасные.

Но что было бы, если б глаз мог видеть световые лучи с волной больше, чем 700 миллимикрон, то есть инфракрасные, например? Оказывается, тогда человек практически стал бы слепым.

Дело в том, что светится не только солнце, но и всякое нагретое тело. (Не светятся только абсолютно холодные тела с температурой -273°C , каких на Земле нет.) Причем слабо нагретые тела испускают именно инфракрасные лучи. И поскольку это так, то светится и наше собственное тело, и внутренность глаза, например, которая имеет температуру около 37° и испускает также инфракрасные лучи. Теперь представим себе на минуту, что глаз получил способность видеть их. Энергия инфракрасных лучей на единицу площади сетчатки будет очень велика, и по сравнению с этим внутренним светом для нас потухло бы и солнце, и все окружающее. Мы видели бы внутренность своего глаза, и ничего больше.

Открытие Фридея как раз и состояло в том, что он нашел способ заставить глаз видеть инфракрасный свет. Для этого он облучал глаз какими-то лучами с помощью своего отражателя.

– Понимаешь, – сказал Фридей, – красный свет – это не самоцель, конечно. Я искал способ видеть в темноте. Помнишь, я думал об этом еще в университете?.. Ну-ка стань еще раз под отражатель.

– Но...

– Стань, не бойся.

Понимаете, мне не хотелось повторять опыт, но я вдруг почувствовал, что сейчас надо слушаться Фридея. За всем этим стояло дело. Даже очень большое. На такие вещи у меня нюх.

Я стал на прежнее место.

Фридей подошел к окну, опустил штору и тщательно подоткнул ее. В комнате стало совсем темно.

– Темно? – спросил он.

– Да, темно.

– Ты ничего не видишь?

– Решительно ничего.

Он вернулся к столу, что-то щелкнуло, и в глазах у меня вспыхнул прежний красный свет.

– Внимание, – сказал Фридей. – Теперь я уменьшаю силу тока.

Красный свет у меня в глазах стал меркнуть, в мутной красной пелене я увидел вдруг какую-то плоскость. Это был стол... Потом вынырнули стулья, фигура Фридея, внимательно глядящего на меня, стены, окна, завешенные шторами...

Я видел комнату. Но она была другая. Вся красная. Различных оттенков красного цвета.

– Видишь что-нибудь?

– Да. Вижу.

Это было удивительно, но я видел все. Очень ясно. Только все было красного цвета. Как на модернистской картине.

– Вот, – сказал Фридей. Он выключил аппарат, поднял штору, отчего комната приобрела прежний нормальный вид, и сел на стул. – Ты видел тепловое излучение. Не отраженный свет, какой мы обычно видим, а тепловое излучение.

Потом он стал рассказывать про будущее своего изобретения, как он себе его представлял. По его словам, человечество до сих пор вынуждено было двигаться неэкономичным путем в вопросах освещения. Мы освещаем то, что хотим увидеть. Но таких предметов очень много, и поэтому приходится тратить огромное количество энергии. Между тем было бы гораздо выгоднее «освещать» глаз, а не предмет, то есть воздействовать на глаз такими лучами, с помощью которых он мог бы воспринимать невидимое в обычных условиях тепловое свечение. Небольшой портативный аппарат, надеваемый на голову в виде шлема, маленькая батарейка в кармане – и вот уже отпадает нужда в десятках миллионов всевозможных ламп, которые вечером и ночью освещают дороги, улицы, производственные помещения и жилые комнаты...

Все это звучало неплохо, и я сразу представил себе довольно-таки фантастическую картину ночного города, совершенно темного со стороны – с неосвещенными улицами и черными окнами, – но такого, в котором кипит жизнь и который становится светлым, лишь только наденешь на голову аппарат Фридея. Но вместе с тем я чувствовал, что тут кроется еще более крупная и всеобъемлющая проблема. Я еще не понимал, какая именно.

– Ну как? – спросил Фридей.

– Ничего, – согласился я. – И что же ты хочешь?

– Мне нужно помочь. – Фридей выглядел очень усталым. – Вот это и есть аппарат. Но он очень громоздок, как видишь. Нужна будет конструкторская работа. И во-вторых, придется проделать еще ряд опытов. В малых дозах облучение несколько не вредит, это я сам выяснил.

Он стал шарить на столе, чтобы найти коробок спичек, который только что туда бросил. Он шарил, глядя вперед прямо перед собой, и его лицо опять поразило меня неподвижностью. По этой неподвижности – даже не по руке, которая нервно двигалась по столу, – я вдруг понял, почему он споткнулся о ковер у меня в вестибюле и почему на улице так нелепо тыкался в мое плечо.

Он был слеп, Фридей! Он был слеп, как дождевой червь, и ничего не видел.

В тот момент, когда я это осознал, меня одновременно осенила идея. Неожиданно для себя я понял, в чем же состоял главный смысл его изобретения.

– Послушай, ты ведь слепой, – сказал я.

Его бледное лицо слегка покраснело, он смущенно усмехнулся, нашарил наконец свой коробок, чиркнул спичку и закурил.

– Ну, не совсем, – сказал он. Руки у него дрожали. – Не совсем. У меня действительно довольно плохое зрение теперь. Днем... Но зато я вижу в темноте. Собственно говоря, цель достигнута. И мне даже не нужно аппарата. Но теперь я стал как филин. Забавно, да?

Я поднялся со стула и шагнул к двери. Фридей тревожно повернул голову. И я очень ясно видел, что его взгляд направлен не на меня, а чуть в сторону.

– Ну так как? – спросил он. – Ты сможешь мне помочь, Джим? Мне нужен толковый помощник. – Он откашлялся. – Деньги у меня есть, но необходим человек, который хоть чуть-чуть разбирается в оптике. Здесь никого не найти в городе. А ты все же кое-что помнишь из университетского курса. Кроме того, мне нужно отдохнуть. Очень переутомился за последние годы. Что-то с нервами. И вообще надо подлечиться.

Я прошелся по комнате взад и вперед. Не скрою, все это меня взволновало, и на миг у меня даже вспотела спина.

Потом я справился с собой и спросил:

– А как ты ослеп?

– Дал большой поток лучей. Стал под отражатель и по ошибке передвинул стрелку слишком далеко. Был очень утомлен тогда.

– Прекрасно, – сказал я. (То, что он говорил, свидетельствовало о правильности моей идеи.) – Отлично. А на каком расстоянии действуют лучи? Ты не пробовал облучать кого-нибудь с дальней дистанции? Прохожих на улице, например.

Он смущенно улыбнулся:

– Пробовал. Когда еще сам видел... Конечно, очень слабым лучом. Но лучше этого не делать, потому что люди пугаются, естественно... Вообще расстояние зависит от мощности установки.

– Я хотел попробовать, – сказал я. – Давай испытаем, на каком расстоянии лучи действуют, и после этого я тебе скажу, сумею я помочь или нет.

Фридей согласился – правда, очень неохотно, – мы сняли отражатель с потолка и, пользуясь тем, что шланг был достаточно длинен, установили его на ближайшем к окну конце стола. Во время этой операции я понял, что Фридей кое-что все-таки видит и при свете. Во всяком случае, он ощущал, в какой стороне окно, и даже замечал мелькание моей руки в воздухе.

Я взял отражатель и попытался направить его на кого-нибудь внизу на улице. Интереснейшая это была штука – стоять вот так у окна с аппаратом. Конечно, мне было бы легче, если б лучи были видимыми. Тогда бы я работал как с прожектором.

Несколько минут я впустую водил отражателем вправо и влево, прицеливаясь в пожилого господина, который брел с палочкой в руке, распахнув белый летний пиджак. Но его мне так и не удалось зацепить, и он благополучно удалился за пределы видимости. Потом я сосредоточил внимание на молодом клерке нервного вида, который шагал, широко размахивая руками.

И тут оно совершилось.

Молодой человек шагал, а я, находясь от него метров за сто, напаривал его отражателем.

Он шагнул и вдруг остановился, как бы натолкнувшись на стеклянную стенку. Остановился с размаху. Как если бы его дернули сзади невидимым канатом.

Секунды две или три он стоял неподвижно, потом поднял руки и прижал ладони к глазам. Затем опустил руки и помотал головой. Потом опять схватился за глаза руками. (По его испугу я понял, что луч рассеивается мало.)

Молодой человек протянул руки вперед и вбок и осторожно, как слепой, стал двигаться к стене дома.

Позже я заметил, что это было первым побуждением почти для всех облучаемых. Как только они временно делались слепыми, так сразу старались уйти с открытого пространства и прижаться спиной к чему-нибудь твердому и неподвижному. Как будто они боялись нападения сзади.

Молодой человек сделал еще шаг и вдруг вышел из зоны действия луча. И сразу его поза переменилась. Он неуверенно повертел головой и огляделся.

Наверное, он сказал себе:

«Что за черт? Что это со мной?»

Он помотал головой, потер глаза. И в этот миг я его снова поймал на луч.

На этот раз он здорово испугался. Раскинул руки и закричал. Наверное, крик прозвучал очень громко. Из окна было видно, как широко он разинул рот.

Какая-то женщина шарахнулась от него в сторону, затем остановилась, пригляделась к нему и подошла. И тоже попала в луч. Вероятно, она взвизгнула, так как у нее также открылся рот. В руке у нее была сумка с продуктами, она ее уронила.

Я даже рассмеялся. Смешно было смотреть, как они застыли, схватившись за глаза руками.

К обоим приближался полисмен. Я хотел было направить луч на него, но в этот момент рядом раздалось:

– Ты чему смеешься? – Фридей подошел к окну. – Ну что – убедился?

– Убедился, – сказал я. – Все в порядке. Я убедился.

Он выключил реостат и поставил отражатель на стол.

– Садись, – сказал я. – Садись на стул.

Я усадил Фридея, сам сел напротив него и отдельно сказал:

– Ну хорошо. А как мы будем реализовывать это наше изобретение?

– Наше? – повторил он. – Я вижу, ты не изменился.

– Да, наше, – сказал я. (В таких обстоятельствах всегда лучше идти напрямик. Это мое правило.)

Некоторое время он молчал, потом спросил:

– А что ты предлагаешь?

После этого мы договорились, что аппарат, когда его удастся создать, будет зарегистрирован под именами Бескер – Фридей и так же поступит впоследствии в продажу. Капитал вкладывал я, а Фридей возвращал мне половину этой суммы, по мере того как мы начинали получать от изобретения доходы, которые делились на две равные части. (На самом-то деле у меня в голове была несколько другая идея, и я надеялся, что до аппарата для видения в темноте вообще не дойдет.)

Затем я вызвал нескольких рабочих, перевез всю лабораторию и самого Фридея к себе в дом. Ему я отвел две комнаты на втором этаже и объяснил Эмили и детям, что нужно создать для человека домашний уют.

Сам побежал в кабинет и стал связываться со своим шурином, который знает одного человека, который, в свою очередь, близок к правлению фирмы «Армо», – знаете, танки, самолеты и вообще выполнение заказов военного министерства.

Шурин прилетел на следующее утро. Я смонтировал установку в зале второго этажа, поместил шурина под лучи. Он быстро все понял, прочувствовал и, в свою очередь, уселся за телефон. В середине дня возле моего дома остановился «кадиллак», и оттуда вышел человек, относительно которого еще издали можно было сказать, что он стоит миллион. Вы бы посмотрели, как он шел по саду. Все вокруг освещалось и приобретало какую-то совершенно другую цену от соприкосновения с ним.

Опять установка, опять лучи. Тип, который стоил миллион, выглядел очень задумчивым после опыта. Но он быстро стряхнул с себя задумчивость, попросил меня выйти из кабинета и тоже принялся куда-то звонить. Ночью меня разбудили, подъехало два «доджа», и оттуда высыпало человек тридцать в штатском. Они оцепили дом, а потом и сад, так что и кошка не могла бы пробежать незамеченной. Тип объяснил, что это обычная предосторожность, когда речь идет о большом деле. Конкуренция, промышленный шпионаж и прочее. Я его, кстати, отлично понимал и без этих объяснений.

Он сказал, что члены правления фирмы придут утром, и я пошел к Фридею.

Вы понимаете, идея, которая меня осенила при первом знакомстве с лучами, была куда перспективнее, чем это самое видение в темноте. Фридей по своей наивности и сам не понимал значения того, на что он наткнулся. Главное в этих лучах было вовсе не то, что возникала возможность в будущем отказаться от всех видов освещения. Представьте себе, что самолет, снабженный таким аппаратом, но более мощным естественно, пролетает над территорией вражеской страны. В нужный момент аппарат включается... Впрочем, даже не самолет. Спутник, движущийся на огромной высоте. В точно рассчитанный момент лучи начинают воздействовать на лежащую под ними территорию, у каждого в глазах вспыхивает раскаленный красный свет, и...

Я изложил все это Фридею и сказал, что мы передаем наше изобретение фирме «Армо».

Он сидел на своей постели и, пока я говорил, один раз пытался перебить меня, но потом замолчал и стал слушать. Когда я кончил, он покачал головой:

– Нет!

– Как – нет?

– Так – нет! Что ты придумал, болван! Ты, может быть, воображаешь, что я для этого работал всю жизнь? Пожалуй, я вернусь к себе.

Наивный человек. Я пожал плечами, встал, подошел к окну и позвал одного из парней внизу. Тот откликнулся. Тогда я объяснил Фридею, что выбора нет. Фирма фактически уже завладела изобретением и не отдаст его никому. Теперь наша задача состоит лишь в том, чтобы дороже продать то, что мы придумали.

С этим я его оставил и побежал к членам правления, которые были готовы выслушать меня.

...Да, надо сказать, что сам я тогда еще и не знал толком принципа действия аппарата, который индуктировал луч. Главный узел был в небольшом металлическом ящике, заваренном стальным швом. Фридей как-то вскользь обмолвился, что важной частью узла является некий искусственный минерал. До поры до времени я не настаивал на объяснениях, так как понимал, что Фридей никуда от меня не уйдет...

Следующие три дня прошли в каком-то угаре. Демонстрация аппарата, переговоры. Фридей в этом не участвовал, я видел его за эти дни только два раза мельком. Мне тогда показалось, что он как-то одумался. Он сделал вид, будто собирается работать над усилением мощности аппарата, и даже спрашивал меня, где в доме ввод электрического кабеля.

Кульминационным пунктом всей истории был момент, когда я в присутствии всех этих господ установил аппарат на крыше дома и ясным солнечным днем направил отражатель на перекресток двух улиц.

Вот это был эффект!

Мы даже не знали, на кого и на что смотреть. Пешеходы остановились как по команде и все сразу схватились за глаза. Большой открытый «шевроле», который ехал миль на сорок, резко затормозил, рванул в сторону и врезался в угол дома. Потом были какие-то две или три секунды тишины, пока люди старались осознать, что же с ними случилось. И после этого начался крик. Сначала тихо, а потом все громче и громче.

Те, кого красный свет в глазах захватил на середине улицы, старались скорее добраться до тротуара. А другие, тоже испуганные, хотели узнать, что же случилось на мостовой, спешили на перекресток и сами попадали в зону действия отражателя. И тотчас теряли голову, не в силах догадаться, что им довольно лишь вернуться на тротуар, чтобы прозреть.

И все время рос и рос общий соединенный крик над перекрестком. Пожалуй, примерно так же было в Хиросиме, когда над ней взорвалась атомная бомба.

Этот последний опыт все решил.

Оформление документов заняло несколько часов, и когда я вернулся к себе на первый этаж, наступила ночь. На улице началась гроза, ударил сильный ливень, и за окнами стояла непроницаемая темнота.

Я только собрался сообщить Эмилии и детям, что все кончилось хорошо, как вдруг в комнате погас свет.

Такие вещи у нас бывают, правда очень редко. Я решил, что это какая-то неисправность с пробками, и стал ждать, пока их заменят. Прошло три минуты, потом пять... Свет не зажигался. Я подошел к окну, отворил его, высунулся под дождь и убедился – свет погас не только в левом крыле и на первом этаже, но по всему дому.

Из соседней комнаты Эмилия спросила, нет ли у меня случайно спичек. Я напомнил ей, что не курю. Потом попытался звонком вызвать Форбса, но звонок был нем.

Весь дом был полон народу. В коридоре кто-то прошел. А свет все не зажигался, и, поскольку на улице хлестал дождь, во всем доме был полный мрак.

И вдруг мне почему-то пришло в голову, что ведь Фридей-то видит в темноте.

Не то чтобы я что-то заподозрил в этот первый момент. Просто я подумал, что он единственный зрячий во всем доме, в то время как все остальные слепы. Я спросил у жены, не знает ли она, где сейчас Фридей, и услышал, что десять минут назад она видела, как он спускался в подвал, где у нас стоит распределительный щит электроэнергии.

Вот тут уже мне стало нехорошо.

Я ощупью нашел дверь в комнате и вышел в коридор. Кромешная тьма. Кто-то, сопя, двигался мимо. Чиркнула спичка, и огонек на миг осветил физиономию того типа из «Армо», который приехал первым. Он был очень раздражен и спросил меня, когда будет прекращено безобразие со светом.

Я извинился, обошел его и, держась рукой за стену, направился к лестнице. Аппарат был на втором этаже в зале, и, хотя там постоянно дежурили парни из агентства, я уже начал испытывать острое беспокойство.

Я добрался до лестницы, когда услышал первую автоматную очередь наверху. Этот звук мне прострочил прямо по сердцу. Не разбирая ступенек, я кинулся вверх, упал, вскочил, выставил вперед руки и бросился в темноте к залу.

За окнами ударила молния. На миг все мертво и сине осветилось, и в этом мгновенном свете я увидел, что по коридору идет человек, а у входа в зал лежит неподвижное тело.

Я ринулся навстречу идущему, зацепился за что-то, что позже оказалось вторым парнем, упал. Идущий приблизился, я слышал его шаги, метнулся к нему на четвереньках и сумел схватить за ногу.

Я схватил его, он вырвался, и в тот же миг я получил страшный удар ногой в зубы. (Вы видите, у меня вставные челюсти. И верхняя, и нижняя.) Рот у меня сразу залился кровью, я растянулся животом на полу, закричал, потом все же вскочил и бросился за Фридеем, потому что это был именно Фридей.

Я не успел сделать и трех шагов, как слева раздалась автоматная очередь, красные точки прочертили темноту.

...Одним словом, мне попало так, что, уже выписавшись из госпиталя, я еще полгода не мог ходить без костылей.

Но тогда, даже раненный, я пытался бороться. Я понимал, что теряю. Я пополз до лестницы, зовя на помощь. Но тут ударила новая очередь из автомата, а после уж началось что-то невообразимое.

В доме было человек десять вооруженных, и столько же в саду. Все эти ребята знали, что они здесь охраняют какое-то изобретение огромной важности, и, когда ночью погас свет и прозвучали первые выстрелы, все сразу начали пальбу. Те, что дежурили в саду и за садом,

решили, будто кто-то пытается прорваться из дома, и взяли под обстрел окна и двери. А внутри подумали, что их атакуют, и заняли оборону.

Одним словом, бой бушевал всю ночь. Я лежал на втором этаже, истекал кровью и не мог шевельнуться без того, чтобы не вызвать в свою сторону несколько выстрелов.

Утром, когда все немного опомнились, оказалось, что у нас два десятка раненых, и из них трое – тяжело. Я очень надеялся, что Фридей будет найден где-нибудь в саду хоть раненым, хоть убитым.

Но Фридея не было, как не было и металлического ящика с главным узлом аппарата. Вы понимаете, что сделал этот сумасшедший. Вечером он спустился в подвал, в щитовую, и пожарным топором перерубил там ввод электрического кабеля в дом. А после этого поднялся в зал, пользуясь крошечной темнотой, оглушил там обоих охранников и унес главный узел аппарата.

Под моим руководством у «Армо» потом в течение года работала лаборатория. Но я слишком мало успел узнать от Фридея, чтобы восстановить аппарат. Поскольку он упоминал о каком-то искусственном минерале, мы перепробовали их все – вплоть до искусственного булыжника. Но безрезультатно. О самом Фридее стало известно, что он уехал в Нью-Йорк, а потом оттуда в Европу.

Ну вот и все, собственно. Что касается меня, я и сейчас не маленький человек. Когда я с женой появляюсь в концертном зале... Хотя я об этом уже говорил.

Стальная змея

Иногда приходится удивляться тому, насколько тесно история жизни на земле (и ранняя история человека в частности) связана с особенностями существования того или иного биологического вида. Есть такая точка зрения, например, что, если бы на Американском материке до прихода белых водилось какое-нибудь крупное копытное, подобное лошади, индейцы не так сильно отстали бы в своем развитии от Европы. И тогда первые испанские колонизаторы, высадившиеся в Новом Свете, нашли бы там цивилизацию, лишь совсем немного уступавшую их собственной.

Или, скажем, стальная змея. Еще более разительный пример. Будь это морское чудовище приспособлено к жизни на небольших глубинах, порядка трех-пяти метров, вся ранняя история человечества пошла бы, возможно, несколько другим и замедленным путем, так как нескольких тысяч таких тварей было бы совершенно довольно, чтобы отбить у первобытного охотника желание приближаться к большим водоемам. А это на какой-то срок отодвинуло бы освоение морей.

Впрочем, все это рассуждение имеет цену только применительно к самым первым этапам истории человечества. Теперь, при современной технике, людям, конечно, ничего не стоило бы справиться со стальными змеями, даже если бы чудовище поднялось на поверхность океана в массовых количествах. Может быть, пришлось бы временно отказаться от использования мелких деревянных судов. Пожалуй, возникла бы необходимость как-то обезопасить население приморских городов. Но так или иначе, схватка человека с *anguilla loricatus* сейчас может закончиться только быстрой и решительной победой человека.

В доисторические времена людям пришлось бы труднее...

Вообще обстоятельства нападения чудовищ на Ленинград достаточно интересны, чтобы их стоило рассказать.

Уже впоследствии животное было названо *anguilla loricatus*, что означает на латыни «панцирный угорь». В те дни, когда оно впервые вынырнуло в Неве, все называли его змеей или стальной змеей.

Мнения о количестве животных, совершивших свой набег на берега Невы, все еще колеблются. В журнале «Природа» кандидат биологических наук В. Гусенок утверждает в своей статье, что змея (мы так и будем называть панцирного угря для краткости) появилась в Ленинграде в количестве шести особей. Автор, однако, не берет во внимание того, что отдельные свидетельства о появлении животных отстоят одно от другого на целые сутки. Так, например, первые две змеи были зарегистрированы на пляже у Петропавловской крепости днем восьмого июня, третья – на следующий вечер в доме на Греческом проспекте. Учитывая большую подвижность твари, можно предположить, что мы имели дело с одним и тем же экземпляром. Число «четыре», приведенное в последнем выпуске «Ученых записок» Института океанологии, представляется более близким к истине. Но вернее всего было бы предположить, что только три стальные змеи приплыли в Ленинград. Во всяком случае, только три их и попало в руки людей: одна – убитая старшим сержантом милиции Зикеевым, вторая – та, которую облила серной кислотой уборщица в Молочном институте в городе Пушкине, и третья – сдохшая от неизвестных причин и найденная на том же Петропавловском пляже.

Два экземпляра змеи находятся сейчас в Ленинграде. Один – в Зоологическом музее, другой – на кафедре ихтиологии биологического факультета ЛГУ. Кафедра хотела оставить у себя и третью змею, но ее после длительной и деликатной борьбы пришлось отдать в Институт океанологии в Москве.

Лучше всего сохранился университетский экземпляр, так как в ЛГУ попала змея, обнаруженная на пляже. У экземпляра, доставшегося Зоологическому музею, голова несколько

повреждена пулей из пистолета Зикеева. А в Москве хранится, собственно говоря, только скелет *anguilla loricatus*, так как его панцирь и внутренние органы разъедены кислотой.

Число пострадавших от нападения чудовищ точно не установлено. Предполагают, что ранено было десять или одиннадцать человек, причем сюда нужно включить и тех, кто получил ушибы во время памятного бегства на пляже.

Убит был, как известно, один человек.

Мы уже писали, что первая встреча ленинградцев со змеями произошла восьмого июня. Над городом в тот день установилась великолепная ясная погода, и, так как голубого неба не видели уже целую неделю, желающих позагорать у Петропавловской крепости оказалось очень много. С самого раннего утра трамваи и автобусы через каждые пять-шесть минут высаживали возле университетского общежития целые толпы ленинградцев. К одиннадцати часам на пляже были разобраны все сдающиеся напрокат шезлонги и зонтики, и в мужской раздевалке не осталось свободных мест.

Одним из дежурных на станции Освода был в тот день Саша Комов, восемнадцатилетний парень, мускулистый и ловкий. В его задачу входило следить, чтобы купающиеся не заплывали за линию буйков, в двадцати метрах от берега, где на Неве начинается уже большая глубина. С этим Саша справлялся, катаясь вдоль буйков на шлюпке.

Слева от него все время раздавался ровный разноголосый шум пляжа, в котором сливались разговоры, выкрики, звуки песенок, передаваемых радиоузелом. Справа было тихо и спокойно. Со стороны Дворцового моста доносился смягченный расстоянием звон трамваев, и за катящейся, блестящей под солнцем гладью могучей реки видны были подернутые жаркой синеватой дымкой дворцы на противоположном дальнем берегу.

Саше было скучно, но купающиеся, как назло, вели себя дисциплинированно, и никто не пытался вырваться за буйки на речной простор. Саша только лениво пошевеливал веслами, чтобы течение не отнесло его к Малой Неве.

В двенадцать часов он решил, что подгонит сейчас шлюпку к базе и отдаст ее приятелю.

Когда он уже миновал заборчик, отделяющий на берегу платный пляж от базы Освода, за его спиной вдруг раздался пронзительный, очень болезненный и испуганный крик.

Саша мгновенно обернулся и в двадцати метрах от себя увидел над водой искаженное болью лицо мужчины лет сорока. Мужчина отчаянно боролся с чем-то, находящимся под водой.

Комов сделал энергичный гребок и тотчас очутился около утопающего. Мужчина как раз скрылся под водой, затем сразу вынырнул. Саша уперся коленом в борт, схватил мужчину под мышки и разом втащил его в шлюпку, так что она слегка зачерпнула левым бортом. В этот момент ему показалось, будто вокруг пояса мужчины в воде обвился кусок стального троса.

На берегу, на территории базы, уже стояли начальник местного отделения Освода Николай Григорьевич Кусков и дежурный врач в белом халате.

Утопающий хрипел, хватаясь за Сашу. От мужчины сильно пахло спиртным, и Комов решил, что он попросту выпил и в таком виде полез купаться. Саша попробовал усадить мужчину на среднюю скамью, но тот так страшно и протяжно застонал, вцепившись в своего спасителя, что Саша даже растерялся на мгновение.

В этот момент к нему на помощь пришла другая шлюпка, и через несколько секунд он был уже у берега. Не перестававшего стонать мужчину быстро перенесли в будку, где у осводовцев хранится всевозможное лодочное снаряжение, и положили там на дощатый пол.

Все это вместе взятое – от первого крика мужчины до того, как пострадавший очутился в будке, – заняло так мало времени, что на пляже почти никто и не заметил случившегося. Два или три человека из тех, кто нежился на песке совсем рядом с заборчиком, отгораживающим пляж от базы, поднялись и подошли к ограде. Но осводовцы тотчас отогнали любопытных.

Мужчина, лежавший на полу в будке, быстро бледнел. На губах у него появилась пена, вокруг пояса выступила кровавая полоса. Он силился что-то объяснить, но у него получался только прерывистый хрип.

Врач послушал пульс пострадавшего, поднял голову, тревожно и недоумевающе посмотрел на начальника Освода и предложил немедленно вызвать «скорую помощь».

Пока ее вызывали, Саша сказал начальнику, что видел в воде что-то похожее на стальной трос.

– Seriously, Николай Григорьевич, что-то такое было, – подтвердил он в ответ на недоверчивый взгляд Кускова. – Честное слово!

Оба знали, что в этом месте на дне не может быть никаких тросов.

– Ну давай поглядим, – сказал Кусков.

Взяв с собой багор, они уселись в шлюпку, и Саша выгреб туда, где вытащил мужчину.

Вода в Неве вообще чистая и прозрачная, но в этом месте летом она всегда бывает взбаламучена купающимися и мутнеет от поднятой со дна глины.

Саша и начальник некоторое время всматривались в воду, затем Кусков взял багор и опустил его со шлюпки.

Обо всем, что случилось потом, они впоследствии рассказывали немножко по-разному.

Так или иначе, багор вдруг оказался с силой выдернутым из рук Кускова и переломленным пополам. В двух метрах от шлюпки (Саша утверждал, что в одном) вынырнула небольшая – размером в теннисный мяч – голова с разинутой пастью, переходящая в змеиное туловище. Змея ушла под воду, и в следующий момент находившиеся в шлюпке ощутили резкий удар в борт. Бортовая доска лопнула, как спичка, и в пролом вместе с хлынувшей водой просунулась голова чудовища. Тварь повела маленькими глазками, как бы озираясь¹, и метнулась к юноше. Саша, еще не поняв как следует, что произошло, увидел, как у него на бедре в раскрытой ране розовеют мышцы и как их быстро покрывает выступившая из кровеносных сосудов кровь.

Змея подняла голову, затем тело ее переломилось. С силой парового молота она ударила носом в противоположный борт, проломила его с такой же легкостью, что и первый, и ушла в пролом.

Шлюпку быстро заливало. Кусков схватил весла, брошенные Сашей, и несколькими сильными гребками пригнал судно к берегу...

Пляж между тем продолжал жить своей обычной жизнью. Загорающие играли в шахматы и в «козла», болтали или просто молча поджаривали спину и живот. У Трубецкого бастиона медно-красные и коричневые богатыри делали сальто и поднимали друг друга на вытянутых руках. Бойко торговали мороженщицы. По самому берегу, осторожно перешагивая через руки и ноги, бродил дежурный милиционер в полной форме, в тяжелых, как гири, русских сапогах и свистел на тех купальщиков, которые начинали в воде играть в волейбол.

И надо всем этим плыла затасканная и давно уже всем надоевшая мелодия: «Утомленное солнце тихо с морем прощалось»...

Около четверти первого тягучий ритм танго вдруг прервался, и отдыхающие услышали взволнованный, запинаящийся тенор:

– Товарищи! Внимание!.. Просьба всем немедленно выйти из воды. В Неве обнаружена змея.

Это был голос техника радиоузла...

Теперь, чтобы дальнейшие события стали читателю совершенно ясны, необходимо дать более подробное описание места действия.

¹ Как показали исследования, панцирный угорь, подобно многим глубоководным, видит плохо. Взамен зрения у него развита своеобразная способность к радиолокации. Животное испускает радиоволны и улавливает их отражения.

Пляж у Петропавловской крепости, или, как его фамильярно называют ленинградцы, «Петропавловка», расположен у крепостной стены напротив Зимнего дворца через Неву. Сама крепость стоит на островке, который отделен от суши узким, но достаточно глубоким Кронверкским проливом. Тот, кто хочет попасть на пляж с Петроградской стороны, должен подойти к проливу с проспекта Добролюбова, например, и пересечь его по деревянному мосту. Тогда слева он будет видеть наполовину спрятавшееся в зелени старинное кирпичное здание арсенала («кронверка», как он назывался во времена Петра I), справа, внизу на канале, – шлюпки и катера учебной станции Освода, а прямо перед ним будут стены крепости, а за ними бывший пустырь, который в последние годы прибран и украшен газонами. На пустыре стоит роща очень высоких, развесистых старых ив, которые с противоположной Дворцовой набережной и от Ростральных колонн смотрятся как великолепное густое зеленое пятно на фоне старинных крепостных стен и зданий.

Берег пустыря на Большой Неве называется «диким пляжем». Отсюда-то и приплыл подвыпивший гражданин, первым подвергшийся нападению змеи. Платный пляж начинается там, где стены крепости почти вплотную подходят к воде, и отделен от «дикого» заборчиком. Спасательная станция Освода находится на стыке двух пляжей и обслуживает оба...

Нечего и говорить о том, что призыв, раздавшийся из репродукторов на пляже, произвел действие, обратное тому, на какое был рассчитан.

Тотчас после слов диктора количество купальщиков возросло чуть ли не вдвое. Даже те, кто только что вышел на песок, замерзнув в холодной невской воде, кинулись обратно «ловить змею».

Пожалуй, только матери на всякий случай подозревали к себе маленьких детей.

Но из радиоузла, где место техника занял Николай Григорьевич Кусков, продолжало раздаваться:

– Приказываю немедленно выйти из воды! Опасность очень велика. Только что с тяжелыми ранениями отправлены на «скорой помощи» два человека... Приказываю немедленно выйти из воды...

Постепенно пляж начал прислушиваться. Выкрики и шум прекратились. Неожиданно стало тихо.

И в этой тишине вдруг раздался испуганный крик. Несколько девушек шарахнулись в стороны от парня, лицо которого болезненно исказилось. Парень, сильно хромая, поспешно выбрался на берег. С ноги у него, ниже колена, стекал широкий рукав крови.

На берегу его, сопровождаемого любопытными и испуганными взглядами, подхватила сестра из медпункта и увела за павильон газированных вод.

Первыми из воды выбежали девушки, за ними нехотя потянулись и парни. Те, кто на пляже ничего не знал о случившемся, видели, что люди напротив павильона вышли на песок, и просто последовали их примеру. Через несколько минут на всей протяженности платного пляжа в воде не осталось уже никого.

Люди стояли молча, в напряженной необычной тишине и с тревожным ожиданием смотрели на воду.

Тогда и появилась первая змея.

Над мелкой рябью возникла голова на тонком серо-стальном туловище. Скрылась и вынырнула у самого берега.

Кто-то охнул. Люди стали постепенно отступать от воды, образуя широкий полукруг.

Голова змеи качнулась. Тварь сделала какое-то быстрое движение и в следующий момент очутилась на песке.

Теперь ее было видно всю. Длинное, около трех метров, тело толщиной примерно в четыре сантиметра. Голова по толщине почти не отличалась от туловища. По всей длине спины невысоким гребнем выступал плавник.

Змея упала на песок, вытянувшись как палка или даже как стальной длинный и совершенно прямой шест. Затем этот шест переломился в двух местах (не перегнулся, а именно переломился), задняя часть уперлась в песок, и животное прыгнуло, но не вперед, как можно было ожидать по общему направлению его движения, а несколько в сторону.

Полукруг людей еще более расширился. Передние отступили, а задние, жаждавшие увидеть, что происходит, продолжали нажимать. Получилась небольшая давка.

Неожиданно юноша с копной кудрявых волос над выпуклым широким лбом шагнул из круга, бросился к змее и схватил ее пониже головы. Тварь дернулась с огромной силой, и юноша (студент университета Федор Коньков) полетел в толпу. У него были вывихнуты кисти рук.

Сразу несколько парней кинулись к змее, и на мгновение она вся скрылась под массой загорелых мускулистых тел. Но только на мгновение. Через секунду все парни с различными ушибами были отброшены от чудовища.

Один из осводовцев выскочил из круга, ударил змею багром, но это окончилось ничем, так как багор полетел в одну сторону, а осводовец – в другую.

После этого внимание чудовища привлекла стойка зонта. Змея переломилась, с размаху ударила носом по стойке и срезала толстую жердь, как ножом.

В ней была какая-то непобедимость, в этой твари. Она даже не казалась живым существом, а чем-то бездушным и именно в силу этой бездушности – совершенно неуязвимым. (Можно понять тех, кто ее испугался. Представьте себе вдруг оживший и взбесившийся железный рельс, настроенный враждебно к людям и разрушающий все вокруг.)

Расправившись со стойкой зонта, змея опять подняла голову, слепо тычась в воздух и как бы прислушиваясь к чему-то.

И вот тогда на пляже началось волнение.

До этого люди в каком-то странном оцепенении глядели, как змея расправляется с теми, кто пытается ее схватить. Все молчали. Только милиционер, пробиваясь сквозь стенку любопытных и еще не зная, на что они смотрят, бодро покрикивал: «Разойдись, граждане! Распределяйся равномерно, не мешай отдыхающим!»

Но срезанная, как бритвой, стойка пробудила толпу. Раздался женский крик. Стена людей дрогнула, и народ двинулся от чудовища.

Это и было то памятное отступление с пляжа, о котором его участники впоследствии вспоминали со стыдливой улыбкой.

Большая часть людей пошла вправо от фасада крепости – к выходу с пляжа. Несколько человек пустились было бегом, но более спокойные остановили их, и панике не дали распространиться. Миновав заборчик, отделяющий платный пляж от «дикого», люди растеклись по газонам у Кронверкского пролива на пустыре.

Те, кто пошел направо, сгрудились в узком пространстве между водой и крепостной стеной. Они-то и видели, как напротив павильона газированных вод на берег выползла вторая змея.

Недоумевающий милиционер тоже был увлечен толпой и, роняя и вновь подбирая фуражку, тщетно выспрашивал, куда вдруг заторопились отдыхающие.

Не пострадал и никто из детей. Взрослые подхватывали их и торопливо уносили.

Через минуту или две пляж опустел. На песке остались только опрокинутые шезлонги, брошенные пиджаки, платья, шахматные доски, женские туфли и всякая мелочь вроде гребешков и портсигаров.

Люди ушли опять-таки молча. Пожалуй те, кто видел змею, были слишком ошеломлены. Ошеломлены тем вызовом, который эта тварь сделала человеку.

Прошло около получаса, прежде чем первые смельчаки в трусиках и в купальных костюмах начали осторожно перебегать от заборчика на середину пляжа, опасливо осматривая песок

и тревожно оглядываясь на недавно еще столь мирную гладь Невы, и подбирать свои ботинки и брюки. Самым первым был, впрочем, все-таки милиционер. Ему наконец растолковали, в чем дело. Он поправил портупею, проверил, верно ли сидит фуражка на голове, и, придав лицу официальное выражение, твердым строевым шагом направился на пляж.

Было похоже, что он собирается воздействовать на змей параграфами из «Обязательного постановления Ленсовета о поведении граждан в общественных местах».

Милиционер-то и сообщил всем остальным, что чудовища исчезли.

На газонах у Кронверкского канала все время росла возбужденно переговаривающаяся толпа. С трамваев и автобусов сходили всё новые и новые желающие позагорать и останавливались у поваленного заборчика, чтобы выслушать историю о нападении змей.

Пострадавшие были быстро увезены «скорой помощью», машины которой несколько раз с надрывным гудением пробирались через толпу.

Появился взвод милиционеров, которые с револьверами стали у воды на всем протяжении платного пляжа.

А за каналом, всего в ста метрах от того места, где только что было ранено несколько человек, позванивая, катили трамваи, кондуктора объявляли название следующей остановки – Зоологический, – и город еще ничего не подозревал.

Странно, но все те, кто ушел от змей с платного пляжа, на «диком» почему-то чувствовали себя совершенно спокойно. Это был какой-то массовый гипноз. Люди – некоторые еще держали в руках ненадетые части туалета – оживленно переговаривались, и никому не приходило в голову, что чудовищам, в конце концов, все равно, платный пляж или бесплатный, и они могут выползти на берег в любом месте.

Но вдруг смуглая девушка, которая гребешком расчесывала влажные черные волосы, прекратила это занятие и испуганно уставилась в какую-то точку на поверхности зеленоватой воды канала. Стоявшие рядом заметили это и, хотя ничего не было видно, стали с тревогой переглядываться.

Сознание опасности разом овладело толпой. Разговоры умолкли, как по команде. Настала полная тишина.

Но никакого волнения на этот раз не было. Торопливо, но спокойно люди потянулись через мостик. Толпа еще некоторое время стояла у остановки возле общежития ЛГУ и потом рассеялась.

Еще через полчаса, ровно в три, все репродукторы в городе вместо обычных сообщений областного радио передали постановление Центрального управления милиции:

«На Неве возле Петропавловской крепости обнаружены опасные животные типа водяных змей. Впредь до особого распоряжения категорически запрещается купание в Неве, в Финском заливе и во всех водах Ленинграда и области. Запрещается передвижение на лодках всех типов.

Администрации пляжей и лодочных станций немедленно обеспечить выполнение указанного постановления...»

На Кировских островах, в Петродворце, на острове Декабристов, в Сестрорецке и Зеленогорске служители пляжей и осведомцы изгоняли из воды разочарованных и раздосадованных ленинградцев. По Неве, по Фонтанке, по Мойке и каналу Грибоедова понеслись катера речной милиции, возвращая катающихся к лодочным станциям.

Посты вооруженных милиционеров встали у Ростральных колонн, у Лебяжьей канавки, на Карповке, на Екатерингофке – по всем рекам и речкам города.

Вечером того же дня по Летнему саду прогуливались студент-первокурсник ЛЭТИ Митя Колосов и штамповщица Невского завода Надюша Зайцева.

Это было их первое в жизни свидание.

После великолепного дня настал великолепный вечер. Закат отпламенел, солнце давно уже село куда-то за шпиль крепости. В саду, в легком сумраке, смутно белели мраморные статуи. Воздух был таким теплым, что казалось, будто его и нет совсем.

Однако, несмотря на эти благоприятные обстоятельства, встреча у Мити с Надей не удалась.

Получилось так, что, когда молодые люди встретились, Митя от застенчивости и смущения начал острить и говорить Наде разные колкости. И девушка, тоже от застенчивости, стала отвечать ему тем же.

Держась друг от друга на расстоянии вытянутой руки, они побродили по Марсову полю и вошли в Летний сад, продолжая все то же пустое и совсем им не интересное пикирование. Митя нудно подтрунивал над родным городом Нади, Костромой, а Надюша острила по поводу избранной юношей специальности – он намеревался стать слаботочником.

Эта перебранка им давно уже надоела, так как им обоим хотелось говорить совершенно о другом.

В половине одиннадцатого Надя довольно сухим голосом сказала, что ей пора домой.

Они пошли на Петроградскую сторону через Кировский мост и на середине его остановились.

На Дворцовой набережной уже зажглась сверкающая нитка фонарей. Под ногами у молодых людей, где-то далеко внизу, мерно вздыхала Нева. Впереди, вдали, на фоне темного неба едва вырисовывались Ростральные колонны, фронтон Военно-морского музея и башенка над кунсткамерой. За Тучковым мостом на Большой Невке низко прогудел работага буксир, тянувший баржу, и звук раскатился на необъятной водной шире.

Мите хотелось сказать, как прекрасен раскинувшийся перед ними простор, как ему нравится Надюша и каким большим человеком он хочет сделаться, чтобы стать достойным ее, но вместо всего этого он, удивляясь сам себе и ужасаясь своей глупости, фальшивым и развязным тоном заявил, что вот в Ленинграде даже и водяные змеи есть, а в Костроме их нету. Он некстати вспомнил сообщение по радио.

Оба они смотрели на воду, и оба одновременно увидели змей.

Три слабо фосфоресцирующие ломкие линии вдруг возникли на поверхности воды примерно напротив Музея Ленина и быстро двинулись вверх по течению. Они плыли так же, как передвигалась на песке змея, появившаяся днем на пляже, – резкими, сильными толчками. Светящаяся линия переламывалась в двух или трех местах, затем мгновенно выпрямлялась, как отпущенная пружина, и тотчас оказывалась метрах в двадцати дальше. Казалось, в черной воде бегут три молнии.

Чудовища плыли в ряд с интервалом примерно в пять-шесть метров. В их движении чувствовалась какая-то согласованность – ни одно не обгоняло двух других.

Сверху их было очень хорошо видно в темной воде.

Змеи проплыли под ногами у молодых людей и скрылись за пролетом моста.

Все это заняло не более двух-трех секунд.

Митя и Надюша посмотрели друг на друга. Им обоим было немного страшно.

Всю фальшь и наигранность их сегодняшней встречи сняло как рукой, и Надя доверчиво прижалась к груди юноши. А Митя перед лицом опасности сразу почувствовал ответственность и за свою мать в квартире на улице Восстания, и за весь город, и в особенности за девушку, стоявшую рядом с ним. Ему было страшно этой ответственности, и в то же время он был счастлив, что берет ее на себя.

Он властно обнял Надюшу за плечи, и они пошли прочь, испуганные, замолчавшие, наслаждаясь неожиданно возникшей между ними близостью и оглушенные этим новым чувством.

Трех змей видели на Неве еще много ленинградцев. Судя по свидетельствам, чудовища проплыли до Охтинского моста и вернулись обратно к крепости. В третьем часу ночи в них стрелял из дробового ружья охотник Петрюк, следовавший пешком с Финляндского вокзала через Литейный мост.

На следующий день животные дали еще одно доказательство своей удивительной жизне-способности. Одно из них проникло в канализационную систему города.

Рядом с Мальцевским колхозным рынком на углу Греческого проспекта и улицы Некрасова стоит одно из тех больших серых зданий, которые пожилые ленинградцы по старинке называют «перцевскими домами». До революции их владельцем был инженер Перцев, зять генерал-адъютанта Стесселя, печально прославившегося во время русско-японской войны.

Дома, несмотря на то что они строились примерно полвека назад, снабжены вполне современными удобствами. На всех лестницах есть лифты, в квартирах – паровое отопление и ванны.

На шестом этаже в этом доме жила (и живет сейчас) молодая женщина, Анна Михайловна Пузанова. По специальности она искусствовед и отличается тем, что совершенно не переносит вида и даже упоминания о животных класса пресмыкающихся. По ее словам, во всяком случае, ей довольно только услышать о змеях или о крокодилах, чтобы тотчас упасть в обморок.

В описываемое время – вечер девятого июня – Анна Михайловна или, как звали ее знакомые, Анетта Михайловна сидела в комнате и обдумывала статью в ленинградскую молодежную газету «Смена». Кажется, это была рецензия на какой-то кинофильм. Поразмышляв час или два, молодая женщина переделалась в халат и вышла в ванную комнату умыться.

Однако, к ее разочарованию, раковина водопровода оказалась засорившейся.

Анетта Михайловна поковыряла в стоке проволокой, затем попробовала протолкнуть воду специальной резиновой нащепкой. Безрезультатно. Вода не хотела стекать.

Тогда молодая женщина вышла на лестничную площадку и позвонила в квартиру, где жил домоуправленческий водопроводчик Матвей Федорович Ахов. Хотя время было позднее, она считала, что добрососедские отношения позволяют ей попросить его помощи.

Матвей Федорович еще не спал. Он охотно откликнулся на просьбу, неторопливо собрал сумку с инструментами и проследовал в квартиру соседки. Там он прошел в ванную комнату, покрутил головой над раковиной и поцокал языком. Затем сказал Анетте Михайловне, что давно уже ожидает, что водопроводная система в доме придет в полную негодность.

– На халтуру все сделано, – вздохнул он. – Разве они, черти полосатые, работают? Они срам разводят, а не работают.

Дело было в том, что месяц назад в доме произвели ремонт водопроводной системы. К этому мероприятию Матвей Федорович готовился давно и на вырванном из ученической тетради листке составил список требований к ремонтникам. Но бригада из канализационной конторы не пожелала слушать его медлительных рассуждений о фановых трубах и тройниках. Кроме того, управдом наотрез отказался оплачивать Матвею Федоровичу его услуги по ремонту (часть их была, правда, воображаемой).

Водопроводчик страшно оскорбился. Его печальные усы повисли еще печальнее. Сначала он жаловался на управдома по всем квартирам, а позже, когда жильцам надоело его слушать, пристрастился поверять свои обиды бутылке.

Сейчас он тоже вознамерился подробнее поведать Анетте Михайловне о несостоятельности ремонтников. Но молодая женщина извинилась перед ним и пошла в свою комнату.

Ахов, впрочем, и не нуждался в живых слушателях. У него уже был опыт бесед с неодушевленными предметами.

Договорив газовой колонке все, что ему хотелось сказать, он вздохнул, кряхтя, присел на корточки и газовым ключом стал отвертывать гайку водоотстойника. Тут его поразило, что

одна из труб, идущих от тройника, а именно соединяющаяся с раковиной, – была раздута и даже лопнула по вертикали.

Ахов отвернул крепящую ее гайку, рассеянно поковырял в щели пальцем. Труба вышла из тройника и со звоном упала на кафельный пол. На ее месте осталось что-то серое, напоминающее металлический трос.

– Вот, черти, что сделали! – сказал Ахов, обращаясь к висевшим на полочке полотенцам. – Они же сюда кусок троса загнали, халтурщики! (Ему не пришло в голову, что, если бы трос был в трубе со времени ремонта, Анетта Михайловна обратилась бы к нему еще месяц назад.)

Матвей Федорович дотронулся до троса. Это было что-то твердое, но не металлическое.

– Халтурщики! – повторил он.

Внезапно трос изогнулся и стал втягиваться вниз, в тройник. И сразу из гайки под раковиной показался его конец – маленькая змеиная голова с оскаленной пастью.

Ахов растерянно поднял газовый ключ – он все время был у него в правой руке – и попытался затолкать эту змеиную голову дальше в тройник. Змея оттолкнула ключ. Ахов головкой ключа нажал на змею, стараясь затиснуть ее обратно. Но змея была сильнее и отжала ключ в сторону.

Даже в этот момент водопроводчик был не столько испуган, сколько возмущен. Ему все еще чудились происки ремонтников.

Матвей Федорович встал и, выйдя в коридор, позвал Анетту Михайловну.

– Змея, – сказал он, показывая в сторону ванной. – Понимаете, Анна Михална, что сделали – змею засунули в тройник! Я Петру Васильевичу говорил, что это не работа.

Затем он заглянул в ванную комнату и увидел, что змея вылезает из тройника. Она струилась оттуда, как толстая резиновая лента.

Тут Матвею Федоровичу в первый раз стало страшно. Он побледнел и притворил дверь.

– Какая змея? – спросила Анетта Михайловна. (Справедливость требует отметить, что в обморок она не упала.) – В чем дело, Матвей Федорович? Вы уже кончили?

– Змея, – повторил водопроводчик. Губы у него дрожали. – Вылезает.

В этот момент в коридоре раздался сильнейший удар. Змея стукнула головой в нижнюю доску дверной рамы.

– Что это? – спросила Анетта Михайловна.

Матвей Федорович, не отвечая, что было сил прижимал дверь.

Раздался еще удар. Анетта Михайловна побледнела.

С третьим ударом филенка двери лопнула, и одним быстрым движением чудовище вымахнуло в коридор.

Секунду все трое не двигались – Анетта Михайловна, змея и водопроводчик, который все еще жал на дверь, хотя в этом не было уже надобности.

Первой опомнилась молодая женщина. Она раскрыла рот, зажмурила глаза и испустила визг такой поразительной силы, что Матвей Федорович оглох на неделю.

Змея тоже была ошарашена. Она сделала молниеносный поворот и скрылась в проломе двери.

(Интересно, что на заседании облисполкома известный ихтиолог профессор Ртищенский выдвинул план борьбы с чудовищами, как две капли воды похожий на тот, который стихийно применила Анетта Михайловна: он предложил поставить ультразвуковой барьер через Финский залив.)

Так или иначе, когда через полчаса Анетта Михайловна и подталкиваемый ею Ахов осторожно заглянули в ванную комнату, змеи там уже не было. Она ушла туда же, откуда появилась, то есть в канализацию.

По всей вероятности, именно с этой особью и столкнулся старший сержант милиции Зикеев, когда он на следующее утро принял пост возле Мальцевского рынка.

Это может показаться странным, но Зикеев не знал о нападении змей на город. Получилось так потому, что он только что вернулся из Саблина, где вместе с другими многочисленными родственниками отмечал золотую свадьбу своих тещи и тестя. Празднество длилось два дня без перерыва, праздновали крепко, и вся история со змеями прошла мимо собравшихся.

В Ленинград сержанта подвез рано утром на мотоцикле его свояк, и тут Зикеев, не успев даже побывать на наряде, отправился на пост. (Поскольку он был чрезвычайно исправным сотрудником милиции, заместитель начальника отделения посмотрел на это маленькое нарушение сквозь пальцы.)

Попрощавшись со своим сменным, Зикеев обошел участок и заглянул на рынок, где уже выстраивались молочницы, чтобы убедиться, не происходит ли чего-нибудь неположенного. Неположенного не происходило, и он, подойдя к ограде Прутковского садика, разрешил себе маленькую вольность – закурил.

Он два раза с аппетитом затянулся и с удовольствием вспомнил, как теща с тестем плясали «русского» и как хорошо вообще посидели за столом.

В это время с Греческого проспекта на улицу Некрасова поспешно вышел полный гражданин. Он шагал быстро, подпрыгивая на ходу и сильно размахивая руками. Шел он не по тротуару, а по самой середине мостовой, между трамвайными путями.

Когда гражданин приблизился, Зикеев заметил, что он тащит за собой какую-то длинную веревку. Кроме того, сержанту стало ясно, что гражданин не идет, а бежит. Но бежит так, как это делают люди, бегать совершенно не умеющие. То есть попросту подпрыгивает на ходу.

Старший сержант бросил папиросу – он предусмотрительно стал возле урны – и поспешил навстречу полному гражданину. Приближаясь к нему, он понял, что за гражданином тянется вовсе не веревка, а не более, не менее, как крупная живая змея.

Они встретились на трамвайной линии как раз напротив магазина «Вино-фрукты». На лице гражданина был написан панический страх. Волосы его были растрепаны, воротничок шелковой рубашки выбился из-под шевиотового пиджака. Вообще чувствовалось, что он испуган, как никогда в жизни.

Змея преследовала его почти что по пятам.

Он силился что-то объяснить Зикееву, но ему не хватало воздуха. Издав заячий писк, он юркнул за спину милиционера.

Змея сделала рывок вправо, затем влево и тоже обошла старшего сержанта, который пытался загородить собой беглеца. Зикеев обернулся и успел увидеть, как чудовище взвилось в воздух и головой ударило полного гражданина в висок.

Тут Зикеев решил, что змея производит «действия, представляющие опасность для населения». Он выхватил пистолет ТТ – личное оружие, подаренное командованием за три подожженных в бою фашистских танка, – спустил предохранитель и, почти не целясь, выстрелил в змею. Пуля попала чудовищу в глаз, и оно моментально сдохло.

Старший сержант оттащил рухнувшего на мостовую гражданина к тротуару и пощупал пульс. Пульс не прослушивался. Полный гражданин был убит на месте.

Прибывшая тут же «скорая помощь» подтвердила диагноз милиционера.

Имя и фамилия погибшего до сих пор не установлены. В его карманах были обнаружены две пачки денег в сумме двадцать тысяч рублей и несколько незаполненных бланков 5-й мыловаренной артели с круглой печатью.

Гибель неизвестного является наиболее трагическим эпизодом с *anguilla loricatus*, так сказать ее кульминационным пунктом. После этого случаев нападения на людей не было.

Вторая змея была найдена полусдохшей на территории Молочного института в городе Пушкине (по всей вероятности, она поднялась из Невы по реке Ижоре). Уборщица института

Власенкова увидела ее в траве и в испуге облила серной кислотой – она как раз несла бутылку со склада в лабораторию.

Последнего *anguilla loricatus*, как мы уже говорили, обнаружили на пляже у Петропавловской крепости. Это было восемнадцатого июня, а змея лежала там, по-видимому, с пятнадцатого.

Вообще надо признать, что город весьма спокойно отнесся к этому вызову его мирному существованию. После первых двух-трех дней серьезного отношения к проблеме чудовища стали для населения предметом шуток и анекдотов. Эстрадная певица Тамара Травцова – та, которая поет «Розочку», – включила песенку о змеях в свой репертуар и исполняет ее в течение уже не первого, увы, сезона...

На этом, пожалуй, можно было бы и закончить наш рассказ. Но в истории нападения *anguilla loricatus* на людей есть мораль, о которой стоит поразмыслить.

Появление стальных змей на берегах Невы показало нам, как мало мы еще знаем об огромном шестом континенте – о морской стихии. В самом деле, перед человечеством простирается еще совершенно не разведанная обширнейшая сфера биологической жизни, площадью примерно в 2,4 раза больше суши и глубиной почти в четыре километра². Эта сфера не только по размерам, но и по разнообразию видов и форм жизни в несколько раз превосходит сферу суши. Может показаться странным, но живая жизнь на нашей планете главным образом сосредоточена в океане. А он во многих отношениях пока еще остается для науки белым пятном.

Мы привыкли воспринимать океан прежде всего как поверхность, а в действительности он – глубина.

Что же нам известно о жизни на больших глубинах?

Предположим на мгновение, что в воздухе на высотах в десять или пятнадцать километров обитают разумные существа, обладающие способностью видеть на расстоянии в несколько десятков метров (примерно так же человек видит в воде). Что они знали бы о человеческой цивилизации, если бы дело происходило до начала авиации? Почти ничего. Используя «глубоководный» лот, они смогли бы, пожалуй, сорвать где-нибудь черепицу со случайной крыши, ветку с дерева, взять пробу со вспаханного участка поля; может быть, вытащить к себе наверх какую-нибудь кошку или муравья. Но сумели бы такие предметы и живые существа – черепица, комок земли и муравей – дать им верное представление о всей сложности жизни на поверхности земли? Бесспорно, нет.

Между тем примерно в таком же положении находимся мы сами с нашими глубоководными лотами по отношению к тайнам океана.

Мы извлекаем пробы дна, нам удается иногда вытащить какое-нибудь забредшее по рассеянности в нашу сеть живое существо, но мы еще почти не знакомы с биологическими взаимоотношениями на океанских глубинах.

Если мы представим себе, что стоим на дне мирового океана, то над нашими головами будет толща воды, простирающаяся во все стороны на миллионы квадратных километров и вся пронизанная жизнью, в отличие от земли, где жизнь располагается почти исключительно только на дне океана воздушного.

Другими словами, биология пока что справилась только с одной, может быть, третью своих первоначальных задач. Наука о живой жизни не завершает свой путь, а только еще начинает свои завоевания. И здесь человеку предстоит встретиться еще со множеством неожиданностей, раскрыть множество тайн и секретов.

² Среднюю глубину мирового океана принимают сейчас за три тысячи восемьсот метров. Цифра неточная, так как еще не установлены скрытые подо льдом размеры материка Антарктиды.

Одной из таких неожиданностей является и *anguilla loricatus* со своей необыкновенной силой и поразительной жизнеспособностью.

Читателю будет, очевидно, интересно познакомиться с результатами исследования трех змей, попавших в руки людей.

Как теперь уже твердо установлено, *anguilla loricatus* принадлежит к отряду угреобразных подкласса костистых рыб и приходится дальним родственником нашему обыкновенному угрю.

Тело животного цилиндрическое, покрытое чешуей. Брюшных и грудных плавников нет. Спинной плавник, отчетливо выраженный, начинается почти сразу позади головы и продолжается до заостренного хвостового, с которым сливается в одно целое. Небольшая голова треугольной формы сверху немного приплюснута. Челюсти усажены острыми и твердыми зубами.

Длина змеи около трех метров, но, по мнению специалистов, могут быть особи, достигающие и десятиметрового размера.

Обитает панцирный угорь на больших глубинах – порядка шести и семи тысяч метров. Об этом свидетельствуют как особенности его строения – почти атрофированные глаза и очень плотный плавательный пузырь, – так и то, что в современную эпоху его ни разу не встречали на море.

Вместе с тем, в отличие от других глубоководных рыб, имеющих чаще всего облегченный скелет и рыхлую мускулатуру, *anguilla loricatus* обладает огромной мускульной силой и весьма прочным скелетом. Профессор Ртищевский считает, что панцирный угорь, являющийся активным хищником, имеет особый своеобразный способ охоты, нигде более не встречающийся в животном мире. Угорь не сдавливает свою добычу кольцами, как это делает на суше удав, и не схватывает ее подобно акуле пастью. *Anguilla loricatus*, нанеся своей жертве сильнейший удар головой, протыкает ее собственным телом, нанизывая на себя. Умертвив таким образом добычу, чудовище затем обгладывает ее своей сравнительно маленькой пастью... Поразительна твердость чешуи чудовища. В угря, специально вывезенного на полигон спортивного общества «Динамо», с расстояния в пятьсот метров стреляли из боевой винтовки. Пули оставляли только едва заметную вмятину на теле животного. Хирургический скальпель не мог поцарапать чешую, а алмаз сделал легкие царапины на ней, но не оставил и следа на роговых пластинках носа и лба.

(Напомним, что Зикееву удалось убить змею только потому, что пуля благодаря чистой случайности попала ей прямо в глаз.)

Остается лишь поражаться качеству сплавов, которые природа изготавливает в своих литейных цехах.

Особенности *anguilla loricatus* делают его самым сильным животным из всех обитающих на нашей планете. Немудрено, что он вызвал небольшое волнение на пляже.

По различным сопоставимым данным можно предположить, что районом обитания панцирного угря является Атлантический океан между островом Мадера и глубоководной впадиной, лежащей примерно на 45° северной широты и 20° западной долготы.

Много споров вызвал вопрос о том, что побудило стаю стальных змей подняться на поверхность океана и совершить свое путешествие в Финский залив. Однако автору этих строк кажется, что он нашел ответ в одной старинной венецианской рукописи, которая попала к нему на глаза во время работы в Ленинградской публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина.

Рукопись представляет собой отрывок из венецианской хроники 1252 года (то есть за год до начала путешествия Марко Поло). В ней излагаются приключения храброго кавалера Никколо Сагрето, решившего проникнуть далеко на запад от геркулесовых столбов (по всей видимости, попытка добраться до нынешних Канарских островов).

Приведем выдержку из рукописи, сохранив несколько наивный и напыщенный стиль подлинника:

«Что же еще сказать мне вам, государи и императоры, короли, герцоги и маркизы, графы, рыцари и простой люд? Знайте, что в шестнадцатый день мая в тот же год господень 1252 возвратился в город со своими людьми храбрый и прекрасный кавалер Никколо Сагредо и рассказал следующее.

Совершая свое путешествие и движимый доблестью, он в день второго марта повернул к западу от мыса Нон и плыл пять дней, чтобы прославить деву Марию и родной город. Утром дня седьмого марта при тихой погоде люди его увидели волну такой высоты, что стали сто-нать и плакать. Волна ударила галеру и нанесла ей многие повреждения. Тотчас же еще одна волна показалась и еще ударила корабль. Тогда люди стали просить кавалера не плыть дальше, а вернуться к африканскому берегу. Однако его замысел был открыть новые земли. Сотво-рив молитву, плыли они весь день, а к вечеру появилась на воде змея. Тут люди поняли, что море не хочет пускать их дальше. Но кавалер приказал, чтобы была спущена лодка, и поплыл навстречу змее, чтобы с нею сразиться в честь святой девы Марии. Змея приблизилась к нему, нагло высовывая голову из воды. Кавалер, знайте доподлинно, выхватил из ножен саблю и уда-рил чудовище. Но клинок арабской стали переломился пополам, а змея осталась невредимой. Наоборот, да будет вам ведомо, она головой проломила борт лодки, и храбрый кавалер вплавь добрался на корабль.

Тогда всем стало ясно, что дева Мария не хочет дальнейшего плавания, и корабль повер-нул обратно.

Многим рассказанное казалось немыслимым, но люди Никколо подтвердили, что он говорил, и показывали обломок сабли.

Я же этому верю, потому что на белом свете есть много различных вещей в той или другой стороне».

Огромные волны при тихой погоде не могли быть чем-нибудь иным, как результатом под-водного землетрясения, или «моретрясения». Теперь их называют цунами. «Моретрясение» и заставило змею Никколо подняться на поверхность.

Остается добавить, что за месяц до появления змей на Финском заливе все сейсмогра-фические станции мира отметили сильнейшие колебания дна в районе к северу от острова Мадера.

Новая сигнальная

...По всей вероятности, тут что-то такое есть. Хотя, конечно, это глупая фраза, почти мешанская. Послеобеденная фраза, которая говорится, когда гости и хозяева немного осовели от сытости и, перебрав все сплетни, захотели «чего-нибудь для души».

Конечно, дело не в том, что «что-то такое есть». Просто наука еще не дошла и не раскрыла. Я сам, когда думаю об этом, начинаю обвинять себя чуть ли не в мистике. Но не будем приклеивать ярлыки. Это, в конце концов, проще всего. Давайте лучше припомним собственные ощущения. Например, на фронте.

Со мной такая штука была три раза, и один раз на Ленинградском фронте в сорок первом в начале сентября возле Нового Петергофа (теперь он называется Петродворцом).

Мы возвращались с товарищем из разведки и шли по дороге так, что справа у нас был Финский залив с Кронштадтом где-то там, в темноте, за волнами, а слева кусты и заросли Петергофского парка. Территория была здесь прочно наша, потому что передовая проходила тогда примерно в двух километрах за железной дорогой, а весь парк был набит нашими частями, которые постепенно скапливались на Ораниенбаумском плацдарме, отступая перед превосходящими силами дивизий Лееба. Мы шагали беззаботно и даже автоматы закинули за спину. И вдруг я почувствовал, что в нас сейчас будут стрелять. Вот сию минуту. Это была необъяснимая и в то же время такая сильная уверенность, что с криком: «Ложись!» – я прыгнул на своего напарника, ничего не ожидавшего, сбил его с ног и с ним вместе упал на асфальт. Сразу же над нами в серой темноте бесшумными красными искорками из придорожных кустов пробежала цепочка трассирующих пуль, а через миг как бы отдельно ударил звук автоматной очереди. Конечно, мы тотчас открыли пальбу по этим кустам, а потом бросились туда, но там, естественно, уже никого не нашли.

Вот что это было такое, что сказало мне, будто в нас кто-то целится? Откуда возникла во мне эта уверенность, когда мы шли по совсем спокойному месту? Но она действительно возникла, потому что, не кинься мы тогда на асфальт, обоих перерезало бы через пояс, утром нас нашли бы на дороге задубевших, с серыми лицами, и после прощального жиденького винтовочного залпа ребята из соседней 7-й морской бригады, нахмурившись и молча, закидали бы нас землей в братской могиле. И я не мог бы сейчас ничего вспоминать.

Или, скажем, другой случай. В сорок втором году под Калачом, когда против нас стояла 8-я итальянская армия...

Хотя нет. Не надо! Не будем отвлекаться и перейдем к тому, что произошло с Колей Званцовым, к той истории, которую он рассказывал нам в Ленинграде зимой сорок третьего года в здравбатальоне на Загородном проспекте, в большом сером здании напротив Витебского вокзала. (Теперь это здание стоит не только напротив Витебского вокзала, но и напротив нового ТЮЗа, нового Театра юных зрителей, построенного взамен того, что был на Моховой). Мы находились тогда в здравбатальоне, куда человек, как известно, попадает из госпиталя, когда, собственно, госпитальное обслуживание ему уже не нужно, но какая-нибудь рана не совсем затянулась, требует перевязок и сам он не вполне готов нести воинскую службу. Днем, кто не был освобожден, занимался боевой подготовкой – изучением оружия и строевой. А вечером, лежа на деревянных топчанах, мы рассказывали друг другу, кто что знал, видел и слышал. О том, как пригород Ленинграда Урицк шесть раз в рукопашном бою переходил из рук в руки, о Невской Дубровке, о переправах на Волге, о боях под Моздоком, обо всяком таком. Почему-то мы все толковали о войне. Возможно, оттого, что сами были тогда в тылу. Это уже замечено: во время войны на передовой бойцы редко говорили о боях, а больше о прошлой, довоенной жизни, если выдавалась тихая минута. А в госпиталях и на отдыхе всегда вспоминали передовую.

Такими вечерами Николай Званцов и рассказал нам, что с ним произошло однажды. Впрочем, даже не «с ним», а скорее «через него». Какая-то странная сила, новая, неизвестная нам способность организма проявилась через него, сделала, так сказать, свое дело и ушла.

Это было в мае сорок второго года, во время нашего наступления на Харьков с Изюмского выступа. Операция, как известно, оказалась неподготовленной. Из района Славянска немцы перешли в контрнаступление, ряд дивизий наших 6-й, 9-й и 57-й армий попали в окружение и с боями стали пробиваться назад, за Северный Донец.

Званцов служил в пулеметно-артиллерийском батальоне, и в конце мая их рота две недели держала оборону возле одной деревушки, название которой он забыл. Обстановка сложилась тревожная. На участке роты было тихо, но впереди происходили какие-то крупные передвижения. Орудийная канонада доносилась уже с флангов, было известно, что соседний полк разбит и отступил. Назревала опасность захода противника в тыл, ждали приказов из дивизии, но связь была прервана.

Местность кругом обезлюдела, и сама деревня, в которой они заняли оборону, уже не существовала как населенный пункт. Сначала ей досталось, еще когда немцы в сорок первом взяли Харьков и в этом краю шли крупные бои. А случайно уцелевшие тогда дома окончательно дожгли эсэсовцы из 4-й танковой армии, отступившие во время нашего недавнего прорыва к Мерёфе и Чугуеву.

Так что деревня представляла собой лишь пожарища и развалины, там и здесь начинавшие зарастать кустарником. Был один-единственный кирпичный полуразрушенный дом, где разместился КП роты и где в подвале ютились двое оставшихся в живых и неэвакуировавшихся жителей – старик лет шестидесяти пяти и его глухонемая дочка. Старик делился с бойцами картошкой, которой у него в подвале был насыпан немалый запас. Он был еще довольно крепкий, вместе с дочкой рыл с солдатами окопы и помогал копать позиции для орудий.

Вот тогда-то, в той деревне, с Николаем и начались странности в виде его удивительных снов. Впрочем, вернее, не совсем так, поскольку это в самый первый раз проявило себя, когда однажды утром командир роты послал Званцова в разведку.

Николай и еще один боец, Абрамов, пошли, чтобы уточнить, где, собственно, находится противник. Они прошагали около пяти километров, не обнаружив ни своих, ни чужих, а потом за небольшим лесочком, лежа на высотке, услышали шум приближающихся танков. Машины показались из-за рощицы. Званцов узнал наш быстроходный Т-70 и с ним две тридцатьчетверки. Это мог быть взвод танковой разведки, и Николай решил подождать, пока танки подойдут поближе, затем остановить их и выяснить общую обстановку.

Они с Абрамовым лежали и ждали, и вдруг Званцов почувствовал, что не одни они наблюдают за танками, что еще и другие внимательные глаза – и не одна пара глаз, а множество – следят за приближающимися машинами и рассчитывают расстояние до них. Это чувство просто как ударило его в голову, он обернулся и, пошарив взглядом по местности, показал Абрамову на другой лесок, метрах в двухстах от них. Они стали туда вглядываться и оба сразу увидели, как из-за кустов едва заметно приподнялся ствол «змеи» – противотанковой немецкой пушки, которую на фронте так называли за длинный тонкий ствол и маленькую головку дульного тормоза.

И сразу грянул первый точный выстрел; просверливая воздух, полетел снаряд. Головной Т-70 вздрогнул, башня покосилась, танк дохнул огромным клубом черного дыма, и Николай Званцов почти физически ощутил, как там, внутри, в миг взрыва боеприпасов в дикой ярости высоких температур разом испепелились три тела, разом оборвались мысли, страхи, храбрости, планы и три русских парня перестали быть.

Званцов с Абрамовым вскочили и закричали, как будто этим криком могли чем-нибудь помочь танкистам, но потом опомнились и легли, чтобы не обнаружить себя.

Бой между тем разгорался. Противотанковая батарея, сделавшая засаду в леске, открыла беглый огонь по двум оставшимся танкам. Тридцатьчетверки, отстреливаясь, стали разворачиваться.

И тут Николай опять почувствовал, что еще новая группа людей сверху видит и их двоих, и батарею, и танки. Он дернул Абрамова за руку, они скатились с высоты в канаву. И вовремя, потому что над ними плыл на небольшой высоте «Юнкерс-88», и по песчаному гребню канавки сразу легла строчка ямочек со стеклянными капельками внутри, которые образуются, когда в песок попадают на большой скорости пули из крупнокалиберного пулемета.

И тут же, вот в этот самый миг, Званцов непонятным и непостижимым образом ощутил всю картину боя. Он ощутил ее как огромный пространственный многоугольник с движущимся верхним углом – ревушим самолетом, с углами на поверхности земли – противотанковой батареей немцев, где щелкали и перекатывались на лафетах стволы орудий, железно рокочущими танками, уходящими от обстрела, им самим с Абрамовым и последним углом – нашей танковой группой из десятка машин, которые молча прятались в дальнем редком леске, но были уже обнаружены с «юнкерса». (Он твердо знал, что танки там есть, хотя и не мог понять, почему, как и чем он это чувствует.)

Углы гигантского, перемещающегося над землей и по земле многоугольника были связаны отношениями, и именно отношения каким-то образом давали Званцову возможность ощущать себя. Артиллеристы фашистской батареи хотели расстрелять тридцатьчетверки, танкисты рвались уйти из-под огня, командир «юнкерса» видел танки в дальнем лесу и намеревался бомбить их, а его пулеметчик жалел, что не попал в две маленькие фигурки на опушке леса, которые были Званцовым и Абрамовым. Все эти стремления, намерения и сожаления проходили через сознание Званцова и все происходящее скрепляли для него в одно. Как будто он получил еще новое, добавочное внутреннее зрение.

И не только это.

Он знал, что происходит, на какой-то миг был способен и предвидеть, что будет происходить.

Он знал наперед, что два танка повернут не в сторону рощицы, откуда вышли, а двинутся открытым местом на дальний лес. И действительно, едва Званцов почувствовал это, передний танк стал отворачивать от деревьев.

Званцов знал, что «юнкерс» не будет теперь охотиться за двумя танками, а пойдет на лес, и, как бы слушаясь его, самолет взял правее и двумя секундами позже повернулся через крыло и стал падать в пике там, вдали.

Он знал, что батарея сейчас начнет огонь рубежами, и, прежде чем успел осмыслить это свое знание до конца, «змеи» прекратили прямой огонь по танкам и начали пристрелочные выстрелы впереди.

Какие-то несколько мгновений Званцов понимал все за всех. Он видел такое, чего нельзя увидеть зрением, читал все мысли в пространстве на несколько километров и чувствовал не только настоящее, но и ближайшее будущее.

Потом это кончилось, и он снова стал самим собой.

Танки скрылись за холмом, батарея замолкла. Разведчики по-пластунски добрались до леска и пошли в часть доложить обстановку.

И целый день потом Званцов размышлял об этом удивительном многоугольнике и о том, каким же образом он мог видеть и чувствовать то, что недоступно ни глазу, ни чувству.

А после начались сны.

Первый он увидел в тот же вечер, когда лег на полу в доме, где помещался их ротный КП. Причем сон был очень сильный, отчетливый и явственный.

Званцову приснилось, будто он находится в большом красивом саду. Даже не в саду, а в парке, наподобие Гатчинского парка под Ленинградом, с большими, столетними деревьями,

дорожками, посыпанными песком, и пышными клумбами. Сбоку, за поляной, был виден двухэтажный дворец, чистый и хорошо отремонтированный, а прямо перед ним, перед Званцовым, стоял маленький домик без окон. Даже не домик, а какой-то облицованный мрамором куб с дверкой в нем. Этот домик, или куб, был обнесен чугунной узорчатой невысокой решеткой.

Начав видеть сон – а он понимал, что тут именно сновидение, а не явь, – Званцов каким-то краем сознания подумал, что ему повезло с этим сном, и обрадовался, что хотя бы во сне отдохнет немного в таком прекрасном саду. А отдохнуть ему хотелось, поскольку он был на фронте уже почти одиннадцать месяцев, отступая в боях от самой границы, и даже на перформировках нигде не задерживался больше чем на неделю.

Но очень скоро в ходе сна он понял, что тут будет не до отдыха, поскольку все разворачивалось не так, как ему хотелось бы.

Он, Званцов, стоял, широко расставив ноги. Вдали послышался рокот мотора, в парк въехал большой открытый грузовик с молочными блестящими бидонами. Грузовик остановился. Два человека, приехавших с ним, отослали шофера прочь и подождали, пока он уйдет. Потом они открыли борт и поспешно стали сгружать тяжелые, наполненные бидоны.

В руке у Званцова оказалась связка ключей. Он открыл калитку в чугунной ограде, затем дверь в домик. Внутри была небольшая комната без окон, а в полу – люк, куда вела широкая винтовая лестница. Званцов, а за ним люди с тяжелыми бидонами спустились вниз, в новое помещение. Здесь на невысоких постаментах стояло пять или шесть дубовых гробов.

Дальше пошло уже совсем необъяснимое. Званцов и люди, которыми он, по-видимому, руководил, стали снимать крышки с гробов, оказавшихся пустыми. Молочные бидоны все были снесены вниз. Один из мужчин открыл первый бидон, и Званцов увидел, что в бидоне никакого не молоко, а разобранные на части автоматы с дисками.

Это до того удивило Званцова, что он проснулся. Он проснулся и увидел, что в двух шагах от него, тут же в КП, на полу сидит незнакомый ему человек в большой фуражке и глядит на него широко раскрытыми светлыми и даже какими-то жадными глазами.

Миг или два они смотрели друг на друга, затем человек в фуражке погасил глаза и отвернулся. Званцов был озадачен появлением незнакомца на КП роты. Но в остальном в комнате все было в порядке. Мрачный лейтенант Петрищев, командир роты, сидел, как обычно, за столом, склонившись над картой, освещенной горящим куском немецкого телефонного провода. Разведчик Абрамов спал на единственной постели, лежа на спине, раскинув руки и раскрыв рот. И все другие на КП тоже спали, а в окне было видно звездное небо и чернела фигура часового, опершегося на винтовку.

Званцов повернулся на другой бок, закрыл глаза, и тотчас включилось продолжение сна. Но как бы после перерыва. Теперь он находился уже во дворце. Это можно было понять по тому, что он стоял в комнате, а через окно был виден тот же сад с аллеями и клумбами. Рядом со Званцовым был седой господин в зеленом пиджаке, брюках гольф и высоких зашнурованных ботинках (во сне Званцов определил для себя этого человека именно как «господина», а не «гражданина»), Званцов и господин разговаривали на каком-то иностранном языке, причем Николай в качестве, так сказать, персонажа этого сна знал язык, а в качестве действительно существующего бойца Званцова, в тот момент спящего и сознающего, что спит, не понимал ни единого слова.

Они разговаривали довольно бурно и жестикулировали оба. Седой господин повернулся к двери, что-то крикнул. Тотчас она отворилась, двое мужчин ввели третьего, оказавшегося тем шофером, который в начальном сне привел грузовик в сад. Но теперь он был похудевший, с затравленным лицом и разорванной губой. Седой господин и Званцов – опять-таки в качестве героя этого странного сна – набросились на шофера и принялись его избивать. Сначала тот не защищался, а только прятал голову. Но вдруг в руке у него мелькнул нож, он бросился вперед и ударил Званцова в лицо. Нож скользнул по подбородку и задел шею. Тогда другие сбили

шофера с ног, а Званцов, зажимая рукой шею, отошел в сторону, вынул из кармана зеркальце и заглянул в него.

Он заглянул в зеркальце и увидел там чужое, не свое лицо. Дико было. Сон снился Званцову. Званцов был субъектом этого сна, действовал в нем и сознавал свое «я». Но когда он посмотрел в зеркальце, там было не его, а чужое лицо...

Тут Званцов почувствовал, что его трясут, и проснулся.

Была его очередь заступать на пост у КП. Он встал совсем не отдохнувший, взял свой полуавтомат, пошатываясь, вышел на улицу и стал на пост, с сожалением отмечая, как предупредительный ветерок выдувает у него из-под гимнастерки застрявшие там кусочки тепла.

Он оглядел деревню, над которой уже занимался рассвет, и вдруг понял, что где-то уже видел то лицо, которое во сне глянуло на него из зеркальца. Он видел его сравнительно недавно: то ли месяц назад, то ли неделю, то ли день. Но в то же время, как это часто бывает со снами, теперь он совершенно не мог вспомнить, какое же оно было.

Новые сутки прошли в роте напряженно. Удалось ненадолго связаться со штабом дивизии. Оттуда пришел приказ держать деревню насмерть, чтобы обеспечить отступление других крупных частей. Но противник не показывался, и даже та батарея, которую засекли разведчики, куда-то убралась.

И вместе с тем уже с той ночи, когда Званцову приснился первый сон, через расположение роты стали поодиночке проходить солдаты пехотной дивизии, которая первой приняла на себя танковый таран немцев под Мерефой, не отступила ни на шаг и была почти полностью уничтожена вместе с командиром и штабом. Раненых мрачный лейтенант Петрищев направлял дальше в батальон, а здоровых задерживал и оставлял на укрепление своей обороны.

Тогда же ночью, как потом узнал Званцов, в расположение роты приблудился и незнакомец в фуражке. Это был своеобразный парень, уполномоченный Особого отдела дивизии. Их отдел еще в самом начале мая на марше наткнулся на засаду танкового дивизиона эсэсовцев и потерял три четверти сотрудников. Удубченко, так называл себя незнакомец, состоял тогда в ординарцах у начальника отдела и после этой катастрофы, по его словам, был сразу произведен в уполномоченные. Еще через три дня дивизия была разрезана на части, отдел попал под жестокую бомбежку, и в живых остался только он один. Он взял с собой уцелевшее имущество отдела – огромную и очень неудобную пишущую машинку «ундервуд» и единственную несгоревшую папку с делами – и с этим стал пробиваться на восток к своим.

До выяснения личности Петрищев оставил его при КП. Удубченко, очевидно, очень хотелось быть особистом, а не переходить в рядовые бойцы. Ни днем ни ночью он не расставался со своей папкой. Солдаты в роте посмеивались над ним и спрашивали, стал бы он машинкой «ундервуд» отстреливаться от немцев, если бы пришлось. На это он ответил, что у него есть пистолет ТТ, и показал его.

К Званцову Удубченко относился с каким-то повышенным интересом. Николай заметил, что тот все время старается остаться наедине с ним, и, когда они работали на окопах, несколько раз ловил на себе его пристальный, жадный взгляд.

Следующие два дня в роте было спокойнее. Командиры взводов с бойцами отрывали запасные окопы и ходы сообщения, уточняли секторы обстрела для пулеметов. Противник же как будто решил оставить батальон в покое. Грохот артиллерии переместился к востоку. Только очень часто, и днем и ночью, над позициями батальона пролетали немецкие транспортные самолеты Ю-54, держа курс на Изюм.

И опять Званцову начали сниться сны.

Однажды ему приснилось, будто он идет подсолнуховым заросшим полем, постепенно повышающимся. Стоит ночь, и темно. Но он идет уверенно и выходит к опушке леса. У самой опушки над полуобвалившимся старым окопом, накренившись, нависает обгоревший советский двухбашенный учебный танк – ветеран боев сорок первого года. Броня у него раздута

изнутри, очевидно от взрыва боеприпасов. И по раздутому месту белой краской коряво и безграмотно чьей-то рукой намалевано по-русски: «Бронья крипка, и танки наши бистри». Званцов знает эту надпись, но не возмущается, а только улыбается про себя. Но отсюда, от танка, он перестает идти свободно, а пригибается и кошачьим легким скоком начинает перебегать от дерева к дереву. Так он двигается около полукилометра, затем ложится на траву и ползет по-пластунски. Перед ним, освещенная лунным светом, показывается поляна. Званцов видит силуэты каких-то больших машин с крытым верхом и людей в черных шинелях, которые стоят и ходят возле этих машин. Званцов долго наблюдает, затем удовлетворенно кивает чему-то и ползком пускается в обратный путь...

На этом месте сон прервался. Некоторое время мелькали разрозненные кадры старого сна – в саду. Потом снова пошла целая большая часть без перерывов.

Теперь Званцов, опять-таки ночью, стоял на большой пустынной поляне среди леса и чего-то ждал, напряженно глядя вверх, на небо. Наконец издалека послышался звук самолета. Званцов вынул из кармана фонарик, посигналил несколько раз. Невидимый самолет наверху приблизился, потом стал уходить. Званцова это не беспокоило. Он лег на траву и принялся ждать.

Через некоторое время на большой высоте в небе, но уже не сопровождаемый звуком моторов, вспыхнул огонек. Званцов тотчас вынул из кармана второй фонарик и посигналил двумя. Огонек стал стремительно падать, затем погас. Но на фоне светлеющего неба была уже видна темная птица, несущаяся к земле. Это был планер. На высоте метров в двести он вышел из пике, черной тенью скользнул над лесом, приземлился, запахивая выпущенными шасси траву на поляне, пробежал шагов полсотни и остановился неподалеку от Званцова.

Тотчас брюхо его раскрылось, десяток темных фигур высыпались наружу. Званцов вскочил, поднял руку, и, подчиняясь его команде, десантники поспешно и бесшумно пустились за ним в лес. Они вышли к обгоревшему танку с безграмотной, издевательской надписью, сделанной немецкой рукой, и оттуда двинулись очень осторожно. Впереди почувствовалась поляна. Званцов разделил свой отряд на три группы. За деревом была видна фигура часового в черной шинели. Званцов вынул нож из ножен, легко, как это бывает во сне, шагнул к часовому, со спины зажал ему одной рукой рот, а другой погрузил нож в горло. Тотчас сзади него раздался свист, пришедшие с ним люди бросились вперед, к машинам с крытым верхом, которые стояли на поляне.

Солдаты в черных шинелях кинулись им навстречу, завязался короткий горячий бой. Одна из машин неожиданно вспыхнула багровым пламенем и взорвалась, разметав в стороны несколько фигур. Но Званцов с пистолетом в руке уже пробивался к другой. Там метался человек, лихорадочно чиркая по борту какой-то коробочкой. Второй, в кабине, пытался завести мотор. Званцов выстрелом снял первого, затем второго, бросился в кабину и, даже не задерживаясь, чтобы вытолкнуть убитого прочь, нажал стартер, дал полный газ, слыша, как сзади взрывается третья машина, вписался в мощную короткую дугу поворота и вырвался с поляны.

Уже рассвело. Лесная дорога с мелкими, поросшими травой колеями неслась ему навстречу. Бросая машину из стороны в сторону, на полную окружность поворачивая баранку, он мчался к цели, которую знал. Группа каких-то людей пыталась преградить ему путь, но они лишь брызнули, спасаясь из-под колес, и только радужными звездочками от пуль расцвятилось стекло кабины.

Потом лес сдернулся назад, светло вспыхнул полевой простор. Впереди, пониже, шел бой. Маленькие, издалека как игрушечные, разворачивались танки, батарея стреляла по ним, перебегали ломкой цепочкой солдаты.

Слившись с машиной, Званцов низвергнулся с холма дорогой извилистой, как след от удара кнута, которая вела его в самый центр боя. Рядом с ним убитый колотился головой о

подушку сиденья, и Званцов все не мог, не мог, не имел ни секунды, чтобы открыть дверцу и выкинуть его.

Бой приблизился, уже звучно строчили пулеметные очереди. Набежала линия окопов, бойцы с удивленными лицами вскакивали, поднимали руки, стараясь остановить его. Он пролетел мимо них, пролетел через минное поле – рядом взорвалась мина, но он уже был далеко, – проскочил цепочку атакующих. Опять мчащаяся грунтовая дорога напряженными дугами легла ему под колеса. Казалось, не он поворачивает машину, а вертится сама земля – мелькающие куски горизонта, вытянувшиеся в линейку кустарники, зеленые холмики перелесков, – вертится, чтобы пустить ему под радиатор две колеи и спрямить его молниеносный путь.

Наконец новый лес набежал на него тенью и прохладой. Ветки зашелестели по кабине. Званцов стал убирать газ, повернул на лесной проселок, пронесся к небольшому домику, затормозил и стал.

Несколько человек в штатском бросилось ему навстречу. У него от пережитой скорости еще качались в глазах деревья и плыла поляна с домиком, но он уже выскочил из кабины и вместе со штатскими стал сдирать с машины брезентовый верх. Под ним была большая рама с продольными металлическими желобами.

Спеша, подъехали еще три грузовика, набежали еще люди. Молча, не теряя секунд на слова, Званцов со штатскими лихорадочно закидали ветвями машину, которую он привел, и на руках откатали ее в лес, в самую гущу, под деревья. Брезентовый верх был натянут на другой грузовик, откуда-то тащили еще такой же брезент и деревянные стойки. Появились три солдата в зеленых мундирах. Они сели в три новые машины и один за другим, поднимая пыль, покатали прочь от домика.

И тотчас Званцов другим, не этим зрением увидел, как там, за линией фронта, которую он только что проскочил, на аэродромах, поднятые по тревоге, бегут к самолетам маленькие фигурки, услышал, как раздается команда: «От винта!» – как, взревев, начинают петь моторы.

Через миг он был уже не только Званцовым, но и летчиком в самолете. Земля провалилась, провисла под ним огромной вогнутой чашей, на уровень глаз стал убежавший в бесконечную даль горизонт. А он, летчик, пытливо всматривался вниз, прикусив губу, искал что-то среди макетных домиков деревень, выпуклых ковриков перелесков и рощ, среди узеньких, посыпанных светлым дорожек. Потом внизу на лесной дороге он увидел медленно торопящегося жука-машину с крытым верхом. Это было то, что нужно. С радостным приливом в сердце он пошел в пике, приготовляясь отпустить тяжелый бомбовый груз.

И так, поочередно, Званцов был тремя летчиками и, будучи ими, один за другим уничтожил три грузовика с крытым верхом, которые были отправлены с той поляны в лесу. Но одновременно он был и прежним Званцовым, оставшимся с самой первой, главной и значимой машиной, спрятанной глубоко в лесу. С той машиной, в кузове которой он сидел и где в кабине, так и не убранный еще, лежал убитый шофер...

Потом этот сон снился Званцову целых три ночи подряд и замучил его. Стоило ему закрыть глаза, как сразу начинался ночной бой с людьми в черных шинелях на поляне, или дорога мчалась под радиатор грузовика, или он поднимался на самолете, преследуя не ту, другую, ложную машину.

На четвертую ночь явилась как бы шапка, заключительная часть этих снов.

Он лег вечером на КП, снял сапоги, примостил под плечо шинель и сунул голову в шлем. (Вообще-то он шлем не любил и так не носил его, но для сна пользовался охотно, поскольку мягкий внутренний каркас шлема по удобности почти равен подушке.) Он закрыл глаза, и в тот же миг ему стал сниться сон.

Званцов ехал по железной дороге. Стучали колеса, внизу сыпались и сыпались шпалы, а он знал, что везет и уже благополучно довозит что-то чрезвычайно ценное. Поезд остановился на чужой, незнакомой станции. В сизого цвета форме с фашистским знаком на рукаве

двое рабочих возились рядом у стрелки. Чужие солдаты в комбинезонах вольно стояли на перроне. К Званцову бежал начальник станции с белым жезлом в руке, потный, с выражением почтительности и страха на лице. А он, Званцов, ждал его объяснений холодно, презрительно и властно...

Затем станция исчезла, он находился в большом зале с террасой с правой стороны. Впереди никого не было. Но сзади, Званцов это знал, плотной молчащей толпой стояло множество народу, почти все в мундирах: маршалы, генералы и полковники фашистской армии. В зале было тихо, но в какой-то момент сделалась уже совершенно гробовая тишина. Широкая белая дверь впереди отворилась, послышались быстрые шаги, и в зал вошел... Гитлер, Гитлер с усиками и челкой, одетый в серый френч и бриджи. Гитлер шел навстречу Званцову, сзади замерла толпа военных. А Званцов напрягся, готовясь резким пружинным движением выбросить вперед руку в фашистском приветствии и чувствуя, как от этой напряженности еще плотнее облегает его плечи по мерке сшитый офицерский френч.

Гитлер остановился, его костистое лицо было бледно. С минуту он смотрел на Званцова бешеным и в то же время нежным взглядом. Потом глаза его зыркнули куда-то назад, за званцовскую спину. Оттуда вышли два фанфариста, стали рядом со Званцовым справа и слева, набрали воздуху в легкие, задрали головы, и... резкий крик петуха огласил зал.

Петушиное кукареканье и разбудило Званцова.

Это был единственный сохранившийся в деревне петух, который чудом сумел пережить и немецкое наступление сорок первого года, и проход эсэсовских частей в сорок втором.

Петух разбудил Званцова, и он проснулся совершенно ошарашенный.

Что это могло быть и почему ему виделись такие картины?

Он понимал, что эти сны снятся ему неправильно, что здесь чужие сны, которые не могут сниться ему, советскому солдату Званцову, и просто по ошибке попадают в его голову.

Но чьи же тогда эти сны?

Сидя в комнате на полу, он огляделся. Вернувшись с обхода боевого охранения, спал мрачный лейтенант Петрищев, командир роты. (Он был почти всегда мрачен, потому что в Бресте у него остались жена и две совсем маленькие девочки и он ничего не слышал о них с самого начала войны.) Но лейтенанта Петрищева Званцов знал хорошо, вместе служил с лейтенантом под Брестом и был в нем уверен, как в самом себе.

Рядом со Званцовым храпел Вася Абрамов, напарник Николая по разведке. Абрамов попал в их часть недавно, после госпиталя. По его рассказам Званцов знал всю его биографию и понимал, что биография эта была как раз такой, какая ему рассказывалась. До войны Абрамов служил действительную в Особом железнодорожном батальоне Краснознаменного Балтийского флота в Ленинграде. Это была интересная воинская часть, единственная, возможно, на всех флотах мира. Под Ленинградом есть форты Красная Горка и Серая Лошадь, которые связываются с Большой Ижорой специальной железнодорожной веткой. Для обслуживания ветки, по которой на форты подвозятся вооружение, боеприпасы и всякое другое, и был в свое время создан Особый железнодорожный батальон. Служили в нем железнодорожники и исполняли железнодорожные обязанности. Но вместе с тем они носили флотскую форму и принадлежали к КБФ. Служа в этом батальоне, Абрамов по выходным часто наезжал в Ленинград, хорошо знал его, и Званцов, сам ленинградец, имел все возможности точно проверить это знание. (Абрамов даже бывал в той новой бане на улице Чайковского, которую Званцов как раз строил перед войной, будучи бригадиром каменщиков.) Да и вообще они были друзья, вместе ходили в разведку, и не один раз жизнь одного зависела от совести и смелости другого.

Еще один человек спал на КП. Связист Зорин. Но он был совсем молодой паренек двадцать третьего года рождения и весь на виду, с молодым пушком, еще не сошедшим со щек, с приходившими в часть письмами, где деревенская родня передавала ему многочисленные поклоны.

Никому из этих троих не могли предназначаться сны, которые по ошибке попали к Званцову.

Раздумывая обо всем этом, Николай вдруг почувствовал, что на него сзади кто-то смотрит. Он обернулся и увидел, что особист Удубченко сидит у стены и глядит на него светлыми глазами.

Потом он поднялся, подошел к Званцову и неожиданно спросил тихим голосом:

– А ты немецкий знаешь?

– Нет, – сказал Званцов.

– А польский?

– Тоже нет.

Званцов действительно не знал никаких иностранных языков. Вернее, он учил когда-то в школе немецкий, но от всего этого обучения у него в голове осталось только «Их хабе, ду хаст...» и еще немецкое слово «печка» – «офт», относительно которого он не был даже уверен, что это именно «печка», и которое могло быть немецким словом «часто».

Удубченко миг смотрел на Званцова с каким-то ожиданием, потом сказал: «Ладно» – и вышел из КП.

Все это было подозрительно. Это даже могло звучать как пароль: «Знаешь ли ты немецкий язык?» – «Нет». – «А польский?»

Но в то же время Званцов понимал, что не может сейчас ничего сделать.

Терзаясь сомнениями, Званцов свернул козью ножку, высек кресалом огонь, прикурил от фитилька, отчего верхний слой махорки стал распухать, затрещал и запрыгал в стороны маленькими искорками, накинул на плечи шинель и вышел на улицу.

Дурацкий и подлый сон! Чтобы он, Званцов, вытягивался перед собакой Гитлером! Да он бы разорвал его пополам, доведись оказаться рядом, и оба куска этой твари затоптал бы в землю. В землю своими кирзовыми сапогами, а потом бы еще пошел и потребовал у ротного старшины, чтобы тот выдал другие сапоги, а те, первые, сам выкинул бы.

– ...!.....!!!

Званцов затянулся козьей ножкой, помотал головой, вытряхивая сон, и огляделся.

Стояла душистая, бархатная, мягкая украинская ночь. Пахло яблоневым цветом и жасмином. Но деревня, залитая синеватым фосфоресцирующим светом луны, была уродлива и безобразна. Дико и заброшенно торчали трубы сожженных домов, тишина казалась кладбищенской, и повсюду – в темных местах развалин, в овраге за садом, в дальнем леске за полем – притаились угрозы.

Обстановка на фронте была скользкая, и Званцов знал, что за леском уже может накапливаться фашистская пехота, что вражеский лазутчик, возможно, смотрит на него в этот миг из-за полусгнившей прошлогодней скирды на поле.

А главное, было неясно, в какой стороне противник, в какой свои и куда роте нужно повернуться лицом, чтобы ей не ударили в спину.

От этих мыслей Званцову сделалось неуютно и холодно. Он опасливо переложил сигарку так, чтобы огонек был в закрытой ладони.

В дальнем краю сада между яблонями мелькнуло какое-то серое движение. Званцов вздрогнул, напрягся, вглядываясь туда. Движение повторилось. Он, стараясь не наступать на сучки и пригнувшись, пошел вперед и увидел глухонемую девушку, дочь старика.

Она, одетая в серое холщовое домотканое платье, босая, короткими и сильными, но в то же время какими-то неуклюжими рывками рыла землю лопатой. Рядом валялся большой, грубо сколоченный ящик, а на нем – мешок с зерном.

Почувствовав присутствие Званцова, немая испуганно обернулась и отскочила в сторону.

Званцов посмотрел на яму, ящик и мешок. Он понял, что старик с дочерью не верят, что рота будет удерживать деревню от немцев, и заранее закапывают хлеб, чтобы его не отобрали фашистские мародеры. От этих мыслей ему стало горько и совестно перед немой.

Он жестом попросил у нее лопату, поплевал на ладони и в рыхлой, податливой садовой земле быстро выкопал яму. Вдвоем они уложили туда ящик с мешком внутри, закидали все и утоптали.

Званцову захотелось пить. Он сначала спросил у девушки воды, потом сообразил, что она не слышит, и стал знаками объяснять, чего он хочет.

Она тупо смотрела на него, не понимая. Потом поманила за собой. Они подошли к дому. Немая нагнулась к окошку в подвал, замычала. Внизу зажегся огонек коптилки, по лесенке поднялся старик. Пока он поднимался, луна освещала его лысину, обросшую по краям длинными нечесаными волосами.

Узнав, что Званцов хочет пить, старик сказал, что угостит его чаем с медом, и позвал вниз к себе. Званцов стал отказываться. Хотя ему очень хотелось чаю с медом, он понимал в то же время, что этот мед, картошка да хлеб, закопанный в саду у яблони, станут, возможно, единственной пищей этих двоих на долгие месяцы вперед.

Пока они разговаривали, за изгородью опять мелькнул особист, и старик, неодобрительно глядя на него, сказал:

– Вот все ходит-ходит. А чего надо?

Потом старик все же уговорил Званцова на чай, сам полез в подвал вперед. Лестница, приставленная изнутри к окну, была узкая и шаткая. Немая подала Званцову руку, чтобы он не упал в темноте. Ладонь у нее была мясистая и от этой мясистости неприятная. Руку она сначала подала по-деревенски лодочкой, но потом Званцов почувствовал, что пальцы ее крепко и доверчиво обхватили его ладонь. От этой маленькой ласки у него потеплело на сердце, он вспомнил жену с сынишкой в Ленинграде, от которых почти год не было известий, и в темноте у него увлажнились глаза.

Подвал был большой, и в одном углу от пола до потолка завален картошкой, которая начала прорастать бледными ростками. Пахло кислым. Стояли скамьи с тряпьем – постели старика и дочери, стол, какие-то ящики. На сырой кирпичной стене на ржавом костыле висело небольшое с молочным налетом зеркало в деревянной рамке.

Старик прибавил свету, вытащив фитиль в коптилке, развел самовар, в котором вода была уже подогрета. Они стали пить липовый чай с медом. Разговор не клеился, старик был немногословным. Оказалось, что он учитель, и Званцов заметил, что у него действительно руки человека не деревенской, а городской, интеллигентной работы.

Немая смотрела в лицо Званцову и все время улыбалась, но какой-то бессмысленной улыбкой. Старик сказал, что она всю жизнь прожила здесь, в соседней деревне, не знает языка глухонемых и неграмотна. Из-за ее уродства и из-за того, что они только что вместе закопали хлеб в землю и оба понимали, что это значит, Званцову все время было очень совестно перед немой и ее отцом. Ему не сиделось в подвале.

Наверху, над бревенчатым потолком, послышались шаги – подвал находился как раз под комнатой, где расположился ротный КП. Званцов сказал, что это пришел командир роты, которому он может понадобиться, поблагодарил за чай и выбрался на улицу...

Этой же ночью грохот артиллерийской канонады раздался совсем в тылу званцовского батальона, а наутро пришел приказ из дивизии держать позиции в течение трех суток, после чего батальон должен идти на соединение с дивизией на восток.

Но немцы так и не показывались в окрестностях деревни. Мрачный лейтенант Петрищев совсем извелся, потому что он ждал боя и готовился к нему, а неопределенность была еще хуже и опасней, чем любая определенная опасность.

С утра Званцов с Абрамовым опять пошли искать противника. Они побывали в той роще, где когда-то стояла немецкая противотанковая батарея, потом отправились кругом с юго-запада на северо-восток к лесу, который должна была занимать одна кавалерийская часть и в котором разведчики ни разу не бывали.

Ни на опушке, ни в километре вглубь никаких воинских частей не оказалось. Званцов с Абрамовым пошли опушкой дальше, так что деревня, где стояла их рота, оказалась у них за солнцем.

Место было неровное. Они спустились в овраг, по дну которого там и здесь валялись стреляные почерневшие снарядные гильзы, вышли наверх, где по гребню проходила линия старых окопов. Званцову почему-то стало казаться, что он уже бывал здесь и знает места. Они перескочили через несколько полуобвалившихся ходов сообщения, многократно переплетенных серыми телефонными проводами. В просвете между деревьями что-то зачернело. Странное предчувствие укололо Николаю сердце.

Перед разведчиками, накренившись над окопом, стоял двухбашенный старый танк из званцовского сна. По вздутому борту шла надпись корявыми буквами: «Броня крепка, и танки наши быстры».

Званцова это так удивило, что у него сразу вспотела вся спина и он почувствовал, как гимнастерка облепила кожу.

И тут же в лес шла тропинка, которую он тоже помнил по снам.

Он откашлялся – у него сразу пересохло в горле, – кивнул Абрамову, и они осторожно двинулись по этой тропинке.

Они не прошли и километра, как впереди раздалось резкое: «Стой! Руки вверх, не двигаться!» Из-за кустов с нацеленным автоматом в руке вышел человек.

Он был в черной шинели.

В матросской.

– Кто такие?

– Свои, – ответил Званцов из-за дерева. (Они успели оба отскочить за деревья.) – Пехотная разведка. А ваша что за часть?

– Руки! – раздался другой голос.

Разведчики оглянулись и увидели, что второй матрос стоит позади них с автоматом.

– А ну-ка давайте отсюда, ребята, – сказал первый матрос. – Наша часть секретная. В расположение хода нет. Не задерживайтесь. Петров, проводи.

Второй матрос довел их до опушки, и разведчики отправились в свою роту. Но еще прежде, чем они ушли, Званцов успел заметить за деревьями силуэт какой-то большой машины, прикрытой ветками.

Они вернулись в деревню уже затемно, причем Званцов шел в самой глубокой задумчивости.

По дороге, уже ближе к роте, Абрамов стал вспоминать свою собственную службу на флоте и гадать, что же за секретная часть это может быть. Но Званцов почти не слушал его, с ужасом думая, что сейчас не доверяет ни Абрамову, ни Петрищеву, никому из тех, с кем он ночевал на КП, и даже самому себе. Сон переходил в реальность, и Званцову начало казаться, что он сходит с ума.

До самого позднего вечера он не мог решить, нужно или не нужно рассказывать лейтенанту о своих снах, и, ничего не решив, совершенно замученный, улегся на своем месте на КП. В комнате было шумно. Петрищев удвоил боевое охранение, приходили связные из взводов, и телефонист держал постоянную связь с батальоном.

Званцов заснул лишь к середине ночи, и как только глаза его закрылись, так сразу ему представилось, что он глядится в какое-то мутное стекло, в запыленное зеркало, и в нем отражается лицо. Но снова не его, а чужое. Лицо!

Будто что-то ткнуло его в сознание. Он проснулся, мгновение соображая. Некая мысль озарила его. Он поспешно встал, взял свой полуавтомат и вышел из дому.

Эта новая ночь была ветрена. Поворачивало на непогоду, небо по западному краю затянуло тучами.

Званцов огляделся, подождал, пока глаза привыкнут к темноте, проверил в ножнах нож и спорой походкой пошел из деревни. Он знал, где сегодня стоят часовые, и, чтобы не наскочить на них, через огороды двинулся где ползком, а где короткими перебежками. Потом огороды остались позади, он вышел на тропинку, огибающую овраги. Сначала он шагал неуверенно, но затем перед ним легло подсолнуховое поле, и Званцов понял, что идет верно.

Он заторопился. Часто оглядываясь, почти побежал. На выходе из поля перед ним начала мелькать тень. Не теряя ее из виду, он пошел за ней и в лесочке нагнал поближе. То был старик из погреба. Но теперь он выпрямился, походка его стала легкой и гибкой. Чтобы не шуметь, Званцов скинул сапоги. В какой-то миг ему послышались шаги сзади, он спрятался в кустах и увидел, как мимо него, бледный, озираясь, скользнул особист Удубченко.

Званцов так и думал, что он должен здесь появиться, пропустил его и пошел сзади.

Он миновал лесок, но на широкой, просторной поляне увидел, что особист исчез и по траве идет один только старик. Званцов удвоил осторожность, обошел поляну краем и приблизился к старику, когда тот остановился, глядя в небо.

Званцов уже осторожно взялся за предохранитель автомата, чтобы спустить его, и оглянулся, прикидывая, как ему действовать на случай нападения сзади. Но тут под ногой его что-то хрустнуло.

Старик обернулся в его сторону, и было неясно, видит он Николая или нет.

Туча нашла на луну, потом освободила ее.

Званцов приготовился было шагнуть за куст.

Старик, глядя на Званцова, сказал что-то не по-русски. И вдруг Николай ощутил свирепейший удар по голове. В мозгу у него как что-то взорвалось. Он обернулся и увидел, что в шаге от него стоит глухонемая дочка старика, держа в руке продолговатый предмет.

У него стали отниматься руки и ноги, и он подумал: так умирают. Но в этот момент оглушительно, как может только пистолет ТТ, грянул выстрел. Пуля слышимо пролетела мимо Званцова и ударила в старика, который охнул и согнулся. За спиной глухонемой девки появился особист Удубченко, на ходу одним махом сбил ее с ног и кинулся к старику.

Через две минуты все было кончено. Старик и девка, которая теперь уже не была глухонемой, а злобно ругалась по-немецки, связанные поясными ремнями, лежали на траве, а Удубченко, дрожа от возбуждения, говорил Званцову:

– Вот гады! Вот гады... Понимаешь, а я думал, ты вместе с ними. Чуть в тебя не выстрелил. Чуть тебя не срезал.

Николай, у которого начало проходить кружение в голове, подобрал на траве продолговатый фонарь, выроненный девкой, и пошел на середину поляны.

Немецкий самолет уже гудел в высоте, и Званцов уже ему сигналил, когда на поляне, поднятые выстрелами, появились моряки в черных шинелях, которые в соседнем леске стояли с батареями гвардейских минометов, или «катюш», как их стали называть позже.

Званцов им все объяснил. А дальше события стали развиваться точно как во сне Николая.

Самолет улетел. Некоторое время над поляной было тихо. Потом в небе возник огонек. Огромная черная птица бесшумно проплыла над верхушками деревьев. Планер, скрипя, снился и побежал по поляне, срывая дерн своими шасси, обкрученными колючей проволокой.

Раскрылась дверца.

Но Званцов с Удубченко и моряки были наготове. Полетела граната, раздался залп. Фашистские десантники, захваченные врасплох, даже не пытались оказывать сопротивление. Весь их отряд был захвачен и, за исключением убитых, доставлен в роту Званцова.

А наутро фронт пришел в движение. Два батальона немцев при поддержке танков ударили на тщательно продуманную оборону лейтенанта Петрищева. Позади деревни начали выходить из окружения потрепанные дивизии 57-й армии и дивизион гвардейских минометов. А мрачный Петрищев сражался, обеспечивая их отход. Его рота была больше чем наполовину уничтожена, но выполнила приказ и ушла из деревни только на третью ночь, унося раненых и забрав с собой два оставшихся в целости орудия. Лейтенант Петрищев тоже катил пушку, вернее, держался за лафет. Он оглох, голова у него была туго забинтована. Но он продолжал отдавать приказания. Только их никто не слушал. Потому что он был в бреду.

Однако Николай Званцов именно в этих боях не принимал тогда участия и узнал о них позже по рассказам товарищей. Вместе с Удубченко, со стариком, бывшей глухонемой и оставшимися в живых немецкими десантниками его сразу направили в штаб дивизии, в Особый отдел армии. Выяснилось, что «старик» был крупным немецким разведчиком-диверсантом, а ложная глухонемая – его помощницей. Их специально оставили в тылу отступивших немецких частей, чтобы выкрасть у нас новое оружие – одну из «катюш», значение и силу которых уже тогда понимала ставка Гитлера.

Фашистский диверсант обнаружил батарею и по радиации, которая у него была спрятана в картошке в подвале, вызвал десант на лесную поляну. Но до того как вызвать, он несколько раз продумывал всю операцию, вернее, почти постоянно думал о ней и представлял себе, как она пройдет, как он вывезет «катюшу» через фронт, даже как доставит ее в Германию и получит награду от Гитлера. Он мечтал и представлял себе все это по ночам, сидя в погребе под ротным КП, и все эти мечты и представления каким-то непостижимым образом транслировались Званцову и возникали в его снах. И Званцов во сне даже говорил по-немецки и по-польски, чем и вызвал подозрения Удубченко.

Возможно, что этот фашист мечтал как-то очень активно и страстно и возбуждал вокруг себя некое неизвестное нам электромагнитное поле. Но скорее всего, дело было не в качестве его мечтаний, а в каких-то особых способностях, которые вдруг проявились в Званцове. Ведь над этим «стариком» на КП роты ночевало много народу, а сны снились только Николаю. Да и кроме того, раньше был еще тот случай с многоугольником.

В Особом отделе армии Званцов рассказывал и о своих первых снах, о грузовике с бидонами и шофере. И немец показал, что это относилось к его воспоминаниям о тридцать девятом годе в Польше, когда они еще летом стали тайно завозить оружие в немецкие поместья на территории польского государства и создавать там фашистскую «пятую колонну». Об одной такой истории, когда их чуть не выдал польский шофер, «старик» и вспоминал в ту ночь, когда Званцову снились парк и склеп, где прятали автоматы. (Тот маленький домик без окон был склеп.)

В Особом отделе очень удивлялись способности Званцова чувствовать чужие мысли и даже хотели задержать его при штабе армии, чтобы ему снились мысли тех пленных немецких офицеров, которые были убежденными фашистами и отказывались давать нужные показания. Но Николаю уже ничего не снилось, он чувствовал себя неловко при штабе и стал просить, чтобы его отпустили в батальон, что в конце концов и было сделано.

А Удубченко остался служить при Особом отделе. Он сдал туда пишущую машинку «ундervунд» и ту папку с делами. Его назначили ординарцем при одном подполковнике, и он сразу радостно приступил к исполнению обязанностей.

Вот такая история приключилась с Николаем Званцовым, и он рассказывал нам ее долгими вечерами в феврале сорок третьего года в Ленинграде, на Загородном проспекте, напротив Витебского вокзала. Одни сразу поверили ему, а другие выражали осторожное сомнение и говорили, что тут еще надо разобраться.

Действительно, тут еще не все ясно. Но с другой стороны, мы и в самом деле не до конца знаем свой организм. Вот, скажем, друг рассказывал мне, что, когда он во время войны был в партизанах в районе Львова, в лесах, их часть наткнулась на одного танкиста. Этот парень

бежал в сорок первом году из плена, но ему не повезло, он не сумел присоединиться ни к одной из групп и целый год прожил в лесу один, пока не встретился с нашими. Так за это время у него, например, выработалось такое обоняние, что за пять километров он мог почуять дым и даже определить, что за печь топится – на хуторе или в деревне. Опасность он чувствовал тоже на очень большом расстоянии и ночью, лежа где-нибудь во мху под деревом, просыпался, если даже в километре от него проходил человек. Кроме того, он мог еще идти через любое болото, даже такое, где никогда раньше не был. Каким-то чутьем он уверенно вставал под водой на те кочки, которые не проваливаются, и свободно обходил опасные места. В партизанском отряде он стал потом разведчиком и однажды вывел людей по совсем непроходимой трясине, когда они были с трех сторон окружены немецкими карателями.

Хотя, пожалуй, это уже другое...

Вообще, в те времена, когда мы слушали Николая Званцова, вопрос о передаче мыслей на расстояние вовсе не затрагивался печатью. И позже долгое время почему-то об этом ничего не говорили, так же как, например, о кибернетике. Но в последние годы положение переменялось. Не так давно в журнале «Техника – молодежи» была целая дискуссия по этому поводу. Там же было напечатано, что, когда в Москву приезжал Норберт Винер, прогрессивный зарубежный ученый, который написал книгу «Кибернетика», в Московском университете студенты его спрашивали, способен ли мозг давать электромагнитные волны такой мощности, чтобы их можно было принимать. Он ответил, что частота излучений мозга – та, которая пока известна, – настолько низкая, что для передачи и улавливания потребовалась бы антенна величиной с целый Советский Союз. Но тут же он добавил: не исключено, что мозг способен излучать и излучает более высокочастотные ритмы.

А недавно в одной из газет была заметка, где говорилось, что образы, например, – не слова, а образы, – возможно, и могут передаваться, и рассказывалось об опыте двух американских ученых, из которых один сидел в лаборатории и представлял себе разные фигурки, а другой в это время был далеко на подводной лодке и кое-какие из этих фигурок принимал в мозг.

Конечно, было бы хорошо, если бы Коля Званцов мог прочесть эту заметку. Ему очень приятно было бы узнать, что наука уже подходит к объяснению того, что с ним случилось. Но, к сожалению, он не может прочесть эту газету, поскольку он погиб на самом краю войны в 1945 году.

Один парень, который позже служил вместе с ним, рассказал мне, что тогда, после здравбатальона, Званцов участвовал в освобождении Луги, снова был ранен и, выйдя из тылового госпиталя, попал на 4-й Украинский. А там благодаря одной из случайностей, столь частых на войне, в один прекрасный день вместе с группой бойцов пополнения предстал перед лейтенантом Петрищевым, с которым вместе встретил 22 июня сорок первого года под Брестом.

С Петрищевым Званцов вошел в Венгрию, зацепил даже кусочек Румынии, освобождал Дебрецен, повернул потом на Мишкольц, перевалил Карпаты и взобрался на невысокие горы Бескиды – уже в Чехословакии. Он исправно нес солдатскую службу, грудь его украсилась многими медалями и орденами, и он вырос уже до старшего сержанта. Но в зеленом месяце мае, когда их часть поддерживала танкистов генерала Рыбалко, в одной из схваток был ранен Петрищев. Званцов сам вынес с поля боя мрачного лейтенанта Петрищева, который, собственно говоря, был уже не лейтенантом, а капитаном и не мрачным, а, наоборот, веселым и радостным, так как война кончалась, и семья его была освобождена войсками 2-го Украинского фронта, и он получил даже письмо, из которого понял, что жена его осталась жива и две маленькие девочки тоже остались живы и были уже не такими маленькими, поскольку подросли за четыре года войны и смогли даже написать ему кое-что в этом письме, но только печатными буквами. Званцов вынес капитана Петрищева и сам сдал его в санбат, и капитан записал ему свой адрес в далекой России, а Званцов положил эту бумажку с адресом в нагрудный карман гимнастерки. Потом он пошел в свою часть, но за это время обстановка переменялась. Батальон оказался

отрезанным от санбата, и Званцову пришлось одному пробираться в направлении на Пршибрам. Он бодро пустился в путь, лесом обходя дороги, которые были заняты отступавшими фашистскими дивизиями, шел день, выпался ночью в лесу на поляне и утром увидел вдали городок, в котором рассчитывал найти своих. Но в долине внизу двигался большой отряд из «ваффен СС» – все в черных рубашках со свастикой на рукаве и в петлицах, с автоматами в руках и кинжалами у пояса. А когда он поглядел направо, то увидел там дым и гарь догорающей деревни, а когда посмотрел налево, по пути движения отряда, то увидел, что в другой деревне бегут женщины и дети, крестьяне выгоняют скотину из сараев, и слышал, что там стоит крик и стон.

Миг он смотрел на эту картину, потом кустами перебежал вперед, спустился пониже к дороге, выбрал местечко с хорошим сектором обстрела, прикинул, где он будет тут перебегать и маневрировать, снял автомат с плеча, лег, подождал, пока те, в черных рубашках, подойдут так, чтобы он мог видеть, какого цвета у них глаза, скомандовал сам себе и открыл огонь.

Но эсэсовцы тоже были, конечно, не лопухи. Для них война шла уже как-никак шестой год, они тоже все знали и понимали. Ни одной секунды паники они не допустили. Когда первые упали под выстрелами Званцова, другие тотчас залегли, рассредоточились, быстро сообразили, что он тут один, и, подавляя его огнем своих автоматов, стали продвигаться вперед.

Званцов стрелял в них и, когда его ранило первый раз, в ногу, сказал себе, что хорошо, что не в руку, например, но тут же подумал, что, пожалуй, это уже не имеет значения, потому что жить ему осталось не часы, а минуты. И пожалел он чуть-чуть, что именно этой дорогой пошел отряд «ваффен СС» в черных рубашках, потому что и ему, конечно, лестно было бы вернуться в Ленинград и увидеть свою жену Нюту, с ней и сынишкой пойти весенним воскресным утром в Летний сад при всех орденах, постоять у прудика, где написано: «Лебедей не кормить», и посмотреть, как солнечные блики играют на аллеях. Но делать ему было нечего, и он продолжал стрелять до тех пор, пока с гор не сошел партизанский чешский отряд и не ударил эсэсовцам во фланг, и они откатились и ушли, прогрызая себе путь на запад, чтобы сдаться в плен американским, а не советским войскам.

Чехи из чешского партизанского отряда подошли к Званцову и хотели сделать для него все хорошее. Но они уже ничего не могли для него сделать, поскольку Званцов лежал в луже крови и умирал. Они обратились к нему по-чешски, и он их почти понял, так как, двигаясь по Европе, изучил уже многие иностранные языки и, в частности, по-чешски знал слово «друг», которое на этом языке звучит, кстати, совершенно так же, как и по-русски.

Небо для него раскололось, запели невидимые трубы, дрогнули земли и государства, и Николай Званцов умер.

Чехи из партизанского отряда подняли его, понесли на высокую гору и положили на маленькой красивой полянке в таком месте, где между больших камней, поросших травой, под соснами бьет сильный ручей с холодной кристальной водой.

И там Званцов и лежит до сих пор.

Но каменный уже.

Вышло, что в той чешской деревне был один чех по специальности скульптор. Из большой глыбы на той поляне он вырубил памятник. Из гранита сделана плита, а на ней упал на спину, запрокинув голову и раскинув руки, солдат. Вода из ручья бежит прямо по его груди, журчит и падает вниз.

Званцов лежит там один. Над ним качаются верхушки сосен, он смотрит в небо. Днем его освещает солнце, а ночью – луна, и всегда дует свежий горный ветер.

Один он лежит. Но внизу, метров на тридцать – тридцать пять ниже, есть такая поляна, побольше, где встречаются на свиданиях чешские девушки и парни, смеются, дразнят друг друга и плескаются из ручья.

А вода все льется и льется из его бесконечного сердца.

Ну что вы, ребята, загрустили и задумались? Кто там ближе, налейте еще по стопке, будем разговаривать дальше, вспоминать товарищей и то, что было.

Голос

Не беспокоит, синьор, нет?.. Вы понимаете, эту бритву я купил полгода назад и с тех пор ни разу не точил. Конечно, она уже садится. Но страшно отдавать. Сами знаете, как теперь точат...

Синьор, кажется, иностранец?.. Ну правильно. Чувствуется по акценту. Да и, кроме того, когда живешь в таком городишке, как наш, знаешь каждого, кто приходит к тебе в парикмахерскую... Вам понравился наш городок? Конечно, в Италии таких много. Но наш Монте-Кастро все-таки город особенный. Синьор слышал что-нибудь о театре Буондельмонте и о певце Джулио Фератерре?.. Да-да, многие считали, что он станет рядом с самым непревзойденным Карузо. Так вот, вся история происходила в нашем городе, на наших глазах. Театр Буондельмонте – это у нас. А Джулио живет здесь рядом. Он мой сосед. Больше чем сосед...

Что вы сказали?.. «Только один год»? Нет, синьор, даже не год, а гораздо меньше. Джулио Фератерра выступил всего три раза, и этого было довольно, чтобы мир затаил дыхание. Первый концерт прошел почти незамеченным, а последний слушала вся Италия. Но больше он уже не пел. Никогда в жизни... Самоубийство? Нет, что вы! Никакого самоубийства. Просто у Джулио был сделанный голос. Один бельгиец... Вернее, один бельгийский хирург... Как! Синьор ничего не слышал об этом? Ну тогда синьору просто повезло, потому что я-то знаю эту историю из первых рук. Но прежде чем говорить о Джулио, нужно сказать несколько слов о театре Буондельмонте. Это ведь тоже достопримечательность нашего городка, и тут-то все и происходило.

Синьор видел театр?.. Нет. Но тогда синьору, наверно, знакомо такое понятие «концерты Буондельмонте»? Синьор знает, да? Так вот, это у нас. Вернее, не совсем у нас. Не в городе, конечно, а в трех милях отсюда, на вилле Буондельмонте. Понимаете, старый граф Карло Буондельмонте, дед нынешнего владельца, построил у себя великолепное здание для музыки и пения. Чтобы раз в пять лет там могли собираться настоящие ценители и слушать лучших певцов и музыкантов Италии. Выступить на сцене Буондельмонте – уже само по себе большая честь. Но если вас там признали, если ваше выступление прошло с успехом, можете считать себя действительно выдающимся артистом. С рекомендацией Буондельмонте примут в Ла Скала и вообще на любую оперную сцену мира.

Старый граф не продавал билетов на концерты, нет. Он звал сюда истинных ценителей и даже оплачивал дорогу тем, кому это было не по средствам. При старике вы тут не встретили бы заокеанских миллионеров с раскрашенными дочками. Тогда в зале сидели знатоки: преподаватели пения, артисты, музыканты. Никто не обращал внимания, если у человека рукава на локтях были протерты. Сейчас, при внуке старого графа, все совсем по-другому. Билеты на концерты продаются. А поскольку там всего четыреста мест в зале и концерты бывают только раз в пять лет, можете себе представить, по каким ценам.

Но так или иначе концерты продолжают. Первый был в 1875 году, и с тех пор их состоялось тридцать восемь. По времени должно бы сорок, но один пропустили перед Первой мировой войной, а второй – в сорок пятом году. Внук старого графа сидел тогда в тюрьме у американцев. Как военный преступник...

Вас не беспокоит, синьор?.. Простите, я еще немного направляю... Так вот, вы сами понимаете, что наш городок живет только этими концертами. Конечно, мы не можем покупать билеты в театр. Но ведь в зале Буондельмонте работают наши люди: билетеры, уборщики, буфетчицы. И у всех есть родственники и знакомые.

Я сам бывал на каждом концерте, синьор, начиная с 1910 года и кончая последним, в 1960 году. Я видел здесь много знаменитостей, когда я был молод. Бессмертного Карузо. Густава Малера, прятавшего все понимающие глаза за толстыми стеклами очков. При мне по коридо-

рам виллы Буондельмонте осторожной походкой, как будто боясь запачкаться обо что-нибудь, проходил Артуро Тосканини со своим длинным прямым носом и густыми бровями... Я многое видел здесь. Да что я – я уже старик! Остановите сейчас на улице любого мальчишку-разносчика и спросите его, кто лучше делает трель – де Лючия или де Лукка, он вам ответит правильно.

Одним словом, именно в таком месте, как наш Монте-Кастро, и должно было случиться то, что случилось с Джулио Фератеррой. А началась вся эта история во время последнего концерта, в 1960 году.

Этот Джулио, надо вам сказать, был парень как парень и отличался от других только тем, что среди всех одержимых музыкой жителей нашего городка был самым одержимым.

Несколько человек в Монте-Кастро имеют радиоприемники: нотариус, мэр города, трактирщик и еще двое-трое. Обычно по вечерам, если передают хороший концерт, владелец приемника выставляет его на окно. Кругом собирается народ. Одни слушают молча, другие подпевают, третьи шумно восторгаются. Но никто не умел слушать музыку так, как Джулио Фератерра.

Вы понимаете, при первых тактах какой-нибудь канцонетты он застывал на месте как несгораемый шкаф. Можно было его окликнуть, толкнуть – он только отчужденно оглядывался на вас. Он не слушал музыку, он жил ею. Подойдя к нему в такой миг, вы чувствовали, что все его тело, каждый нерв поют в тон тому, что он слышит. Иногда он выходил из неподвижности, приподнимал руки и не то чтобы дирижировал, что любят делать некоторые, а как бы ласкал звуки и пытался нащупать в воздухе пальцами их бегущие очертания.

Эта страсть приносила ему много неприятностей. Вообще, он был парень ладный и ловкий, и за веселый нрав и старательность его охотно брали на работу лавочники и мелкие местные помещики. Но часто дело кончалось скандалом, так как, отправляясь по какому-нибудь поручению, он порой вовсе не приходил в нужное место, заслушавшись по дороге музыкой.

Даже со своей любимой девушкой Катериной он постоянно ссорился из-за этого же самого.

Так вот, можете себе представить, синьор, как этот Джулио должен был ждать очередного концерта. Еще за год он стал готовиться к тому, чтобы проникнуть на виллу. Сначала ему удалось поступить в парк садовником. А перед самым съездом певцов, в августе, его назначили в театре помощником осветителя. Таким образом мечта его сбылась, он мог рассчитывать, что увидит и услышит все.

Вы, наверно, слышали, синьор, что концерты Буондельмонте шестидесятого года носили не совсем обычный характер. Владелец театра решил, кроме итальянских певцов и музыкантов, пригласить иностранцев. Из Америки приехали негритянка Мариан Андерсон и дирижер Стоковский. Из Франции – Моника Пониколь. Из вашей России, синьор, – красавица Зара Долуханова. Но Италия тоже была прекрасно представлена. На сцене выступал хор мальчиков из Милана, пели Анелли и, конечно, Марио дель Монако, яркая звезда которого уже поднялась к этому времени в зенит.

Билеты продавались по совершенно фантастическим ценам, но зал был всякий раз полон. Наша гостиница мала, поэтому большинство слушателей каждое утро приезжали на автомобилях прямо из Рима. Чудной народ собрался, я вам скажу. Не знаю, возможно, эта мода распространилась и раньше, но тогда мы в первый раз увидели женщин с волосами, выкрашенными в разные нечеловеческие цвета. Серьезно, синьор, одна американка ходила на концерты с шевелюрой ярко-зеленого цвета.

Но все это не важно. Джулио, как и мне, впрочем, удалось послушать почти все выступления. И в тот день, когда пел Монако, Джулио познакомился с бельгийцем. Вернее, бельгиец сам подошел к нему.

Понимаете, дело было так. Во время выступления Монако Джулио сумел пробраться в зал. Он стал там за последним рядом кресел. Монако начал петь, и Джулио, увлекшись и не замечая этого сам, сделал несколько шагов вперед по проходу, затем еще несколько и наконец оказался посреди зала. Монако исполнил первую вещь – арию Турриду из «Сельской чести» Масканы. Аплодисменты. Еще ария, снова овация. А Джулио стоял окаменелый и даже не аплодировал. На него стали обращать внимание. Люди оглядывались, перешептывались, пожимали плечами. Кто-нибудь другой, может быть, почел бы себя оскорбленным, но Марио дель Монако, столь же великолепный человек, сколь и певец, понял состояние своего слушателя и перед заключительной арией приветственно помахал ему рукой.

Но вот последняя вещь была спета, занавес упал при громе аплодисментов. Публика поднялась и начала по центральному проходу выходить из зала. А Джулио все стоял как завороченный. Разодетые дамы и господа обходили его, косились, а он ничего не замечал.

И тут я увидел, что с Джулио заговорил тот бельгиец.

Я хорошо запомнил его. У него было круглое лицо, как будто обведенное циркулем. Маленькие серые глазки в очках без оправы и тонкие прямые губы. Нехорошее лицо, синьор. Если когда-нибудь встретите человека с таким лицом, берегитесь – он принесет вам несчастье.

Я видел, как бельгиец заговорил с Джулио, – они вместе стояли в проходе и вместе мешали публике выходить из зала. Потом бельгиец взял Джулио под руку, отвел в сторону. Они вышли из фойе, сели за столик в буфете и просидели там весь антракт. Джулио выглядел очень серьезным, бельгиец что-то говорил, а Джулио кивал ему.

И в тот же вечер Джулио исчез из города.

Я об этом узнал от Катерины. Девушка прибежала ко мне, потому что мы с Джулио немножко дружили, несмотря на разницу в годах. Одно время он даже работал у меня в парикмахерской. Но какая это работа, синьор, если за день приходят три человека, причем один вовсе не бриться, а одолжить головку лука до субботы...

Так вот, Катерина пришла ко мне, и она была чернее ночи. Сказала, что и прежде они с Джулио ссорились, но после такого поступка она и знать его не хочет.

Понимаете, он оставил дома записку и уехал. Всего два слова: «Не беспокойтесь, вернусь». Но куда? Зачем? А в доме старая больная мать и три сестры, из которых старшей всего тринадцать лет.

Девушка была ужасно обозлена. Я успокоил ее как мог. Потом прошло целых три месяца без каких-либо известий. В городе решили, что Джулио уехал вместе с бельгийцем в Бельгию. И вдруг письмо на имя Катерины. Совсем коротенькое. Джулио писал, что лежит в Риме в частной клинике на Аппиевой дороге и просит ее, Катерину, приехать и взять его оттуда.

С этим письмом девушка снова явилась ко мне. Я спросил, поедет ли она, но у нее был уже взят билет на автобус.

Целый день мы с матерью Джулио и его сестрами тряслись от страха, а вечером с последним автобусом наш беглец вернулся в сопровождении Катерины. Почти весь городок встречал его. Он сошел с подножки на костылях, и девушка поддерживала его. Он был белый как снег, синьор. Позже Катерина рассказывала, что, войдя в палату клиники, она сначала увидела на подушке только его черные глаза и черные волосы. Так он был бледен.

Мы проводили его в дом, где он жил, и там он рассказал, что с ним произошло. Бельгийский хирург сделал Джулио операцию. Эта операция должна была дать ему прекрасный голос, и действительно дала его. Джулио Фератерра уехал в Рим три месяца назад безголосым, а вернулся с сильным и звучным голосом, которому могли бы позавидовать лучшие певцы Италии.

Но что это была за операция, синьор? Что сделал с Джулио бельгийский хирург?

Вот тут-то и начинается важное.

Синьор, скажите мне, от чего зависит голос? Почему у одних он есть, а другие его лишены? Почему это так, что у одного человека бас, у второго баритон, у третьего тенор? Почему, наконец, у того же баритона одни ноты получаются тусклыми и пустыми, а другие – певучими и бархатистыми?

Синьор, вы говорите, что не знаете, и это правильный ответ.

Обычно считают, что голос и способность петь зависят от особого устройства гортани и голосовых связок. О человеке с хорошим голосом даже говорят: «У него серебряное горло». Но так ли это? Действительно ли голос зависит от устройства горла? На самом ли деле этот чудесный дар есть результат случайного каприза природы, следствие особенной формы мускулов гортани и связок? Давайте подумаем. Ведь не говорим же мы, что способность рисовать, талант художника зависят от формы его пальцев или от устройства глаза: глаза-то у всех одинаковые. Не говорим мы, что дар композитора – это результат особого устройства ушной раковины. Если бы все зависело от уха, музыкальные школы не следовали бы одна за другой, композиторы не учились бы друг у друга. Если б так, Шопен мог бы появиться прежде Рамо, а Люлли – после Бетховена. Но на самом-то деле создатели музыки перенимают мастерство один у другого и учатся у своего времени. Значит, синьор, дело не в устройстве уха, глаза или горла.

Нет и трижды нет! Если мы признаем способность петь за талант, а прекрасное пение – за искусство, дело тут не в горле. Талант к пению нужно искать не в глотке, а выше – в голове человека, в его сознании. То, что одни поют, а другие нет, зависит от мозга.

Именно это и понял бельгийский хирург. И когда он задался целью сделать безголосому человеку голос, он со своим ножом приступил не к горлу человека, а к его голове.

Уже позже, стороной, мы узнали, что это была не первая его попытка в этом роде. Ножом и шприцем он залезал куда-то в речевые центры, которые помещаются, если я не ошибаюсь, в левой лобной доле мозга. Алляр – фамилия бельгийца была Алляр – хотел усилить деятельность этих центров и сначала, естественно, тренировался на животных, обрабатывая те места в их мозгу, от которых зависят рев или мычание. А потом перешел на людей.

Но понимаете, это очень сложная штука. Тут же поблизости у человека помещаются центры дыхания, кашля, тошноты и всякие другие. Поэтому немудрено задеть и их. Одним словом, две первые операции получились у него неудачными, и тогда Алляр стал искать себе третьего добровольца.

Вас может удивить, синьор, но этот человек, бельгиец, совсем не любил ни музыки, ни пения. И научная сторона вопроса его не очень интересовала, хотя он был выдающимся хирургом. Алляр любил деньги. Был богат, но хотел стать еще богаче. План его был прост. Он выучивается делать людям голос и открывает специальную клинику. Одна операция – тридцать тысяч долларов (он рассчитывал именно на богатых людей, на миллионеров). Несколько лет такой работы – и он не беднее Рокфеллера. Он был жестокий и решительный человек, и две первые неудачи не остановили его.

К нам на концерты Буондельмонте бельгиец приехал, чтобы присмотреться получше к богатым любителям музыки. Увидев, как Джулио слушает пение, он понял, что парень может стать его третьим пациентом.

Они составили договор о том, что, получив голос, Джулио будет выступать только с разрешения хирурга. Алляр предупредил, что операция будет нелегкой и опасной. Потом Джулио лег в клинику, бельгиец сделал то, что хотел, и после три месяца ставил его на ноги (у Джулио почему-то получился частичный паралич, и затем он навсегда остался хромым).

Но голос действительно родился, синьор. Прекрасный, сильный голос. Нож хирурга попал на какие-то нужные центры и сделал чудо.

Когда Джулио начал ходить, было устроено испытание. Парня привели в комнату, где стоял рояль. Алляр потребовал, чтобы он запел. Потом бельгиец выслушал его, еще совсем слабого и больного, и в бешенстве, со страшными проклятиями выбежал вон.

Почему? Да потому, что у Джулио не было музыкального слуха. Он страстно любил музыку, жил ею, но не имел слуха. Теперь в результате операции у него родился чудесный по тембру, могучий голос, но он открыл рот и заревел этим голосом, как осел...

...Что ты говоришь? Что? Что тебе нужно, Джина?... Простите, синьор, это моя жена. Ее зовут Джина... Так что тебе нужно?... Мыло? О каком мыле идет речь?... Я намылил синьора, и мыло уже высохло?... Ах, это!.. Извините, синьор! Действительно, мыло высохло. Сейчас, сейчас, я все сделаю. Вот полотенце. Сейчас я намылю снова и добрею вас... Извините, пожалуйста...

Так о чем я говорил? О том, что у Джулио не было музыкального слуха... Простите, вот так немножко голову... У него не было слуха, и бельгиец, который затратил деньги на операцию и содержание парня в клинике, оказался как бы в дураках. Когда хирург пришел в себя и оправился от своей вспышки гнева, он сказал, что дает Джулио полгода, чтобы выучиться петь. После этого срока Джулио должен был предстать перед теми людьми, которых соберет бельгиец, и продемонстрировать свое искусство. Затем врач уехал к себе на родину, а Джулио, как вы знаете, вернулся в Монте-Кастро.

Но что такое слух, синьор? И какое он имеет значение для занятий музыкой?

Чтобы ответить на этот вопрос, разрешите мне сказать вам, как я понимаю саму сферу музыки. Что она есть? Можем ли мы утверждать, что музыка – это лишь красивые и приятные уху сочетания звуков?

Синьор, вы никогда не задумывались над тем, отчего такое чистое и сильное волнение овладевает нами при первых звуках шопеновской Третьей баллады или какой-нибудь другой вещи любого из великих композиторов? Вот вы сели в кресло в концертном зале. Погасли огни. Стихают разговоры в публике и шепот в оркестре. Наступает глубокая и прекрасная тишина. Мгновение ожидания. Как будто некий огонь зажегся в сердце дирижера, рука поднята, искра мелькает между ним и оркестром. И вот возник полный ре-минорный аккорд, звуки волторн, зовущие в поход... Яростный порыв ветра... И мы уже унесены. Нет зала, кресел, приглашенных люстр. Уже отлетели все мелкие заботы, душа очистилась, и вместе со всем человечеством мы вступаем в великий бой со злом и неправдой, как нас ведет Бетховен на страницах своей Девятой симфонии.

Отчего это так, синьор?

Я вам отвечу на этот вопрос, сказав, что музыка – это небо над всеми искусствами. Нечто такое, что объединяет людей друг с другом. Музыка – самое человеческое из искусств. Вы понимаете, художник рисует картину, но то, что он нарисовал, я мог никогда и не встречать в жизни. Писатель описывает событие, однако со мной ни такого, ни близкого с этим могло никогда и не случаться. Но композитор рисует только чувства, а чувствуем мы все, синьор.

Другими словами, музыка – это то, что поет в нашем сердце и ищет выхода. А если это так, то слух, музыкальный слух, которым каждый настройщик роялей владеет даже в большей степени, чем композитор, слух, являясь моментом чисто техническим, я бы даже сказал – медицинским, не может иметь в ней решающего значения. Владея даром к музыке, не так уж трудно выработать слух.

Одним словом, синьор, я взялся учить Джулио пению.

Я немного музицирую, и дома у меня есть инструмент. Не рояль, а челеста. Вон там она стоит, в задней комнате. Челеста похожа на небольшое пианино, но меньше – в ней всего четыре октавы. Звук извлекается не из струн, а из металлических пластинок и чрезвычайно нежен. Нежный, небесный звук, и поэтому сам инструмент называется celesta, то есть «небесная». Вас может удивить, откуда у бедняка-парикмахера такая дорогая вещь. Но дело в том, что мой дед состоял в оркестре у старого графа Карло Буондельмонте, а тот, когда умирал, завещал все инструменты тем оркестрантам, которые на них играли.

Так вот, когда Джулио в тот вечер, лежа на постели, рассказал нам свою историю, я тут же, не сходя с места, пообещал сделать из него певца. Конечно, я всего лишь дилетант, синьор, но имейте в виду, что только на иностранных языках это слово приобрело неприятный и даже ругательный оттенок. По-нашему, по-итальянски, дилетант означает «радующий», тот, кто радуется людям своим искусством, своей преданностью музыке или живописи.

Когда Джулио немного отдохнул, Катерина каждый вечер стала приводить его ко мне. Было что-то трогательное, синьор, в этой парочке. Он – высокий, худой, зеленый, с трудом волоочащий ноги, и она, Катерина, загорелая, крепкая, пышущая энергией и здоровьем. Целые дни она работала на огородах, почти от зари до зари, но к вечеру у нее еще оставались силы, чтобы обстирать маленьких сестренек Джулио и вымыть пол в их каморке. Молодость, синьор.

Все глаза смотрели на них с симпатией, и каждый желал им успеха. Сперва Джулио ходил на костылях, но позже ему сделалось лучше и он только опирался на палочку.

Мы начали с нотной грамоты и сидели на этом около трех недель. Одновременно я ему показал интервалы: прима, секунда, терция... И примерно через месяц взялись за сольфеджио. Он пел по нотам, а я поправлял. Голос, открывшийся у Джулио в результате операции, был сначала высоким баритоном, который у нас зовется баритоном Верди, поскольку все оперы композитора требуют именно такого голоса.

Слух развивался у него удивительно быстро. Однажды, на втором месяце обучения, он поразил меня тем, что, послушав предыдущим вечером по радио «Прелюды» Листа, на другой день подхватил главную тему в ми-миноре и повторил ее на нашей челесте верно почти всю целиком.

Но голос и слух, синьор, – это одно, а искусство петь – другое. Вы понимаете, он не умел держать звук. У него был великолепный голос без провалов, без тусклых нот, ровный и сильный, как в верхах, так и в середине, но стоило ему взять звук, верный, чистый и хорошо интонированный, как он тотчас бросал его, соскальзывая во что-то непотребное.

Между тем в чем же состоит *bel canto* – наше итальянское «прекрасное пение»? Именно в умении держать звук по-особому. В этом его отличие от неискusstvenного пения. Вы берете звук музыкальной фразы и держите его, не бросая и не уменьшая силы до момента наступления по темпу второго звука. Этот второй вы берете сильнее и держите до третьего. Третий еще сильнее, и так до самого сильного места, а потом тем же порядком вниз. Тогда и получается цельная, скрепленная во всех частях музыкальная фраза. Только тогда вы поете не отдельными словами, а фразами.

Как раз этому я и стал учить его. Но как, синьор? Что значит «учить петь»? Отвечу вам на этот вопрос, сказав, что лично я попросту пел вместе с Джулио. В музыкальных школах существует термин «ставить голос». Там обучают, как образовывать звук, как выталкивать воздух через голосовые связки, как добиваться, чтобы их дрожание резонировало в груди и в верхних резонаторах. Но все это не внушает мне доверия. Вы же не можете сказать себе во время пения: «Ну-ка, я сейчас натяну голосовые связки и поверну их вот этак...» Попробуйте спеть что-нибудь, думая о том, как держать гортань, и вы станете мокрым через две минуты...

Короче говоря, мы просто пели. Мы пели вместе, а потом он пел один, а я поправлял его. Или я пел, а он слушал.

Конечно, у нас были большие разочарования, синьор. Целых два месяца у Джулио ничего не выходило. Хотя слух развивался скоро, но это был слух, так сказать, в уме, и парню никак не удавалось перевести его в голос. Он раскрывал рот, и после первой верной ноты раздавалось такое, что хоть беги из комнаты. Порой он подолгу сидел бледный, кусал губы, по лбу у него стекал пот, и мы старались не смотреть друг на друга.

Но позже, на третий месяц, что-то стало вырисовываться. Что-то стало прорезываться, синьор. В хаосе фальшивых тонов начали иногда проскальзывать верные, и это было как явление Бога. Потому что голос-то был божественный.

А потом пришел день. Один из лучших дней моей жизни. Вот и сейчас слезы навертываются у меня на глаза, когда я вспоминаю о той минуте.

Мы разучивали ариозо Канио из «Паяцев». Вы, конечно, помните то место оперы, когда несчастный Канио узнает об измене Недды. Канио уже не молод, он зрелый, стареющий мужчина, и это придает его страданию особенно сильный характер. Он клоун, паяц, то есть представитель презираемой профессии, но в то же время самостоятельность его ремесла воспитала в нем и гордость, и достоинство. Канио боготворил молодую жену, и вдруг он застал ее с любовником. Его горе не поддается описанию, но он не может даже побыть со своим несчастьем один. Через несколько минут в балагане начнется представление, где Канио должен играть роль обманутого глупца-супруга, то есть надсмеяться над всем тем, что рыдает сейчас в его сердце...

Я проиграл на челесте вступление – там совсем маленькое вступление. Джулио выглядел задумавшимся, он молчал. Я окликнул его, он бросил на меня взгляд, и как будто огонь сверкнул в воздухе.

Джулио открыл рот и запел:

Играть... Когда точно в бреду я...

И он спел это верно, синьор! В первый раз верно! Но как спел!

Синьор, мы посмотрели друг на друга, и слезы выступили у нас на глазах. Мы заплакали.

Вы понимаете, это был день как день. Мы сидели вон в той захлавленной комнатухе. За стеной сосед-сапожник стучал молотком, на улице женщина у колонки споласкивала ведро. Все было как обычно, и вдруг в эту обыденность вошло что-то большое, огромное. Все вокруг изменилось, и мы уже были не те. Такова сила искусства. Как будто мы поднялись высоко-высоко и поняли что-то о нас самих прекрасное и глубокое.

Одну-единственную фразу он спел верно, но это было как если бы все на этой земле, кто любил и был обманут в своей любви, вдруг получили голос и позвали нас к жалости и состраданию.

Играть... Когда точно в бреду я,
Ни слов и ни поступков своих не понимаю...

Это уже не Джулио пел. Это пела вся жизнь нашего маленького городка и сотен других таких же городков. Наша бедность, мечты, горести и наши надежды на счастье. И уже не моя челеста аккомпанировала пению, а невидимый огромный оркестр исполнял великую музыку Леонкавалло.

...Что такое? Что тебе опять?... Извините, синьор... Что ты сказала – бритье? Какое бритье? Черт меня побери, женщина, но ты превышаешь свои права! О каком бритье ты говоришь, когда речь идет о музыке?... Я не добрил синьора? И что же? Да синьор вовсе и не думает о бритье... Синьор, простите. Действительно, это бритье нам только мешает. Разрешите, я вытру вам лицо. А потом, позже, мы все это кончим... Вот так... А теперь садитесь удобнее и слушайте...

Так на чем я остановился? Я рассказал вам, как Джулио впервые начал петь верно. А после этого, синьор, пошло. Как лавина. С каждым днем фальшивых нот становилось меньше, и наконец они исчезли совсем. А голос, голос продолжал расти, и его диапазон расширился на глазах. Сначала это был высокий баритон, а потом он дошел до полных трех октав. Вверх – до тенора, так что Джулио мог брать вставную ноту в песенке герцога из «Риголетто», а вниз – до хорошего си.

Я совсем забросил парикмахерскую, признаюсь вам. Да и до того ли было, когда рядом рождалось такое чудо. Целые дни мы пели, и, конечно, городок тотчас узнал о свершившемся.

Вечерами вот здесь, под окнами, собиралась толпа, а позже люди стали стоять с полудня, причем некоторые приходили за десять – пятнадцать километров. Это был такой пленительный голос, синьор, и Джулио так быстро удалось выработать поражающий нас всех и неизвестно откуда взявшийся артистизм, что парня буквально окружили поклонением. Стоило ему выйти из дому, как навстречу бросались люди с одним только желанием – пожать ему руку, прикоснуться к нему.

Другой возгордился бы на его месте, но Джулио был скромным человеком и понимал, что здесь нет его заслуги.

А потом мы поехали в Рим, чтобы проверить свои силы, так сказать, на всеитальянской арене. Как вы догадываетесь, я стал его импресарио.

В Риме на Виа Агата помещается музыкальный театр братьев Анджелис. Если вы знаете город, синьор, так это недалеко от моста Мильвио, но не в сторону стадиона, а к вокзалу. Там еще идет подряд несколько улиц, которые называются в честь разных исторических битв.

Так вот, 1 января прошлого года мы приехали в Рим рано утром на автобусе, трамваем добрались до моста, а оттуда пошли пешком. Театр помещается на самой середине Виа Агата, и у нескольких домов там – до театра и после него – стояли у стен большие полотняные щиты с рекламой.

Джулио я оставил внизу на диване, а сам поднялся по широкой мраморной лестнице на второй этаж. Там было такое роскошное фойе с лестницей, что мне подумалось, что и тут можно устраивать концерты. Хотя было еще рано, здание кишело народом – рабочими сцены, оркестрантами, собравшимися на репетицию, осветителями...

У кабинета директора за столом сидели две дамочки в беленьких кофточках и оживленно болтали. Я подождал минуту, потом еще две. Наконец одна холодно посмотрела на меня и спросила, что нужно. Я ответил, что должен повидаться с директором.

– По какому делу?

Я объяснил, что хочу предложить исполнителя, певца.

– По этим вопросам директор не принимает.

– Но у меня прекрасный певец...

Интересно, что, когда она разговаривала с подругой, лицо ее было приятным и красивым, но стоило ей повернуться ко мне, как оно сделалось злым и холодным, как ледяная скала.

– Ну что вы еще хотите! Я вам говорю – мы никогда не прослушиваем певцов. К нам приходят уже с именами.

Что делать? Я набрался решимости, быстро прошел мимо стола и открыл обшитую кожей дверь в кабинет.

Удивительный человек был этот Чезаре Анджелис, доложу вам. Ни секунды он не мог усидеть спокойно. Я начал поспешно рассказывать ему про Джулио, а он поминутно поправлял что-нибудь на столе, перекладывал с места на место карандашики или календари, вскакивал, бежал к окну задернуть штору, садился и сразу опять поднимался, чтобы ту же самую штору вернуть на прежнее место. И при этом совсем не смотрел на меня. Ни разу даже не взглянул.

Затем он вдруг остановился, глядя в окно.

– Как фамилия вашего певца?

– Я уже говорил вам. Его зовут Джулио Фератерра.

– Но я не знаю такого.

– Да вы никак и не можете знать. Я же объяснил, что только недавно...

Но он не дал мне договорить.

– Послушайте, сор. – («Сор» – это сокращенное от «синьор». Так говорят в городе.) – Послушайте, сор, у вас лицо умного человека. Вы знаете, сколько в Италии людей, которые воображают, что поют не хуже Карузо? Миллион. Но мы не можем их слушать. Нам нужны имена. Понимаете, к нам приходят имена, а потом мы уже спрашиваем, как они поют. Идите.

- Как идите?
- Так и идите.
- И вы не будете прослушивать моего певца?
- Ни за что.

Черт возьми! Я встал с кресла, выбежал из кабинета, спустился вниз и поднял Джулио с дивана.

- Пой!
- Где? Здесь?
- Да. Прямо здесь. Они не хотят нас слушать.

Он посмотрел на меня. Его уставшее лицо еще больше обострилось. Он вышел на середину фойе, оперся на палочку, набрал в грудь воздуха и запел.

Синьор, такие минуты стоят целой жизни.

Джулио запел Элеазара из оперы «Дочь кардинала». Мне кажется, Галеви создал эту прекрасную арию, чтобы тут же, мимоходом, намекнуть и на удивительные возможности речитатива. Вы помните, она начинается мерными, как бы раскачивающимися ритмами и будто бы не представляет трудностей, не обещает той певучести, которая заключена во второй ее части. Но потом, потом...

Он запел, и мощный звук его голоса поднялся сразу до стеклянной крыши фойе – туда, на третий этаж, – и вернулся многократно отраженный.

Рахиль, ты мне дана небесным Провиденьем...

Он пел, и на лестнице остановилось движение. Кто бежал, шел, спускался или поднимался – все остановилось и прислушалось. Потом они стали подходить к перилам, перевешиваться и молча смотреть вниз на Джулио.

Ария большая. Он спел ее, воцарилась тишина. И затем Джулио сразу начал герцога из «Риголетто». Понимаете, какие разные вещи: Элеазар – это драматический тенор, а герцог – тенор лирический, причем самый высокий, светлый.

Я уже говорил вам о вставном ля в песенке герцога. Другие певцы обычно не задерживаются на ней, проходят, едва упомянув. Только в вашей России Козловский мог даже филировать на ней. И представьте себе, Джулио, с которым мы несколько раз по радио слышали Козловского, решил здесь, в фойе, повторить его. Он взял это ля, довел его до forte, так что оно как бы иглой пронзило все здание снизу вверх, а потом ослабил до piano, пустив по самому низу, по полу.

Джулио кончил. Миг безмолвия, а затем шторм аплодисментов. Буря! Все-все на лестнице побросали кто что нес, освободили руки и хлопали. А по ступенькам уже бежали Чезаре Анджелис, обе дамочки в кофточках с такими улыбками, с таким восторгом на лицах...

Короче говоря, синьор, был заключен контракт на три выступления. Уже позже, в автобусе, возвращаясь, мы поняли, что нас обманули, так как Джулио получал за вечер лишь по тридцать тысяч лир – столько, сколько маляру платят за побелку квартиры. Но это нас не особенно огорчило в тот момент. Главное, что мы были признаны.

Нечто более серьезное между тем ожидало нас дома. Когда мы примчались в каморку Джулио рассказать его родным и Катерине о своем успехе, нам показали телеграмму от бельгийца. Хирург приехал в Рим и вызывал Джулио к себе.

Синьор, пока я рассказывал о том, как Джулио учился петь, я мало говорил о бельгийском хирурге и у вас могло создаться впечатление, что мы вовсе забыли о нем. Это не так. Алляр постоянно был в наших мыслях, и у нас было такое чувство, будто у него взят аванс и расплачиваться придется очень дорого. Как если бы Джулио продал душу дьяволу, который не преминет унести ее в ад.

Вы назовете это неблагодарностью. Между тем Джулио чувствовал благодарность к врачу, но с ней было смешано и другое. Какой-то страх, что ли. Во-первых, он вызывался странным характером самой операции. У парня был теперь голос, но в то же время голос как бы и не его. Что-то пожертвованное, свалившееся на Джулио случайно, как выигрыш в лотерее.

И во-вторых, личность самого Алляра.

В этом человеке было нечто не то чтобы злое, но бездушное. Позже мне пришлось встретиться с ним, и я заметил одну особенность. Начиная с кем-нибудь разговаривать, бельгиец как бы обезличивал этого человека, вынимал из него индивидуальность и отбрасывал в сторону. Для него люди были не люди, а пациенты, шоферы, официанты, миллионеры или бедняки. И Джулио для него был не наш Джулио Фератерра, парень из Монте-Кастро и жених Катерины, а лишь живой материал для опыта.

Короче, я почувствовал в тот вечер, что Джулио испугался вызова. Мы принесли вина, Катерина собрала на стол и вся сияла оживлением и радостью. У дверей и во дворе толпились те, кто не поместился в доме, ждали, что Джулио будет еще петь. А он сидел задумчивый и сосредоточенный.

Потом он мало рассказывал об этом свидании. Алляр встретил его в той же клинике на Аппиевой дороге. Джулио прошел самый тщательный медицинский осмотр, в котором участвовало около десяти врачей. Было составлено несколько протоколов. Затем бельгиец сказал, чтобы Джулио был готов выступить перед группой людей, которые будут нарочно для этого приглашены в театр Буондельмонте, и они расстались.

Алляр даже не попросил Джулио спеть. Его удовлетворило то, что он узнал о будущих выступлениях у братьев Анджелис.

Не стану рассказывать вам, как прошел этот первый концерт на Виа Агата. Хотя публика собралась случайная, но был успех. Успех настолько разительный, что он позволил владельцам театра устроить ловкую штуку. Они повесили в кассах объявление и опубликовали в газетах, что билеты на второй концерт будут равны десятикратной стоимости первого, а билеты на третий, последний, – в десять раз дороже второго. Сразу начался ажиотаж, часть билетов была припрятана, и всю развернулась спекуляция.

Концерт мы с Катериной слушали из зала. Уже не я был аккомпаниатором Джулио, а человек, которого дали в театре. Некий Пранцелле, профессор из консерватории.

Когда все кончилось, мы хотели пройти в уборную к Джулио. Но комната и коридор возле нее были полны самоуверенными, хорошо одетыми мужчинами и изящными дамами в дорогих платьях. Все они были молоды или казались молодыми. Мне вдруг стало неловко за свои шестьдесят лет и морщины на лице, за потрепанный, вытершийся костюм. И Катерина, я заметил, застыдилась своих обнаженных сильных загорелых рук, загорелой шеи и всего того, что в Монте-Кастро было красивым, а здесь выглядело грубым и простым.

Мы постояли в коридоре, не смешиваясь с толпой, потом какой-то служитель театра спросил, что мы тут делаем, и мы вышли на улицу. Было совсем темно, моросил дождь, далеко за насыпью, в конце Виа Агата, сияли огни стадиона «Форо италико» – там шла какая-то игра. А тут, у театра, было пусто и тихо, зрители уже разошлись. На полотняных щитах повсюду чернели буквы: «Фератерра! Фератерра!»

Мы стояли и ждали Джулио. Мы с Катериной молчали, и почему-то мне казалось, что кончился первый акт драмы и теперь начнется второй...

Синьор, даже внешний вид нашего сонного Монте-Кастро стал другим после этого концерта. Ежедневно наезжали корреспонденты из Рима, встретить незнакомого человека на улице уже не было редкостью. По вечерам на почту приходили столичные газеты, и чуть ли не в каждой мы могли читать: «Загадка из Монте-Кастро», «Тайна Монте-Кастро», «Звезда из Монте-Кастро»...

Сперва мы с Джулио еще занимались некоторое время, но, честно говоря, мне уже нечего было ему дать. Напротив, я мог бы и сам от него узнать многое. Совершенно самостоятельно он научился во время пения дышать грудью, а не животом, атаковать звук, пользоваться как грудным, так и головным регистрами. Техника пения сама шла к нему, она естественно возникла из потребностей выразительности.

Потом, в начале февраля, в Монте-Кастро приехал Алляр и остановился на вилле Буондельмонте. Он взял Джулио к себе и поселил его в двух комнатах охотничьего домика в парке, снятых по договоренности с молодым графом. Пока Джулио проходил особый курс лечения, чтобы избавиться от хромоты, сам хирург списывался с теми любителями пения, с которыми познакомился на последнем концерте Буондельмонте. Он списывался с богатыми людьми, с миллионерами, и звал их приехать в Монте-Кастро к назначенному дню послушать здесь нового великого певца.

Так минуло два месяца, и только редко я видел Джулио. Почему-то, синьор, он стал удивительно красивым, этот наш простой парень. Можно было залюбоваться, когда он, высокий, прямой, в черном, хорошо сшитом скромном костюме, брел по улицам нашего городка навещать родных. Он так и остался бледным, но это была уже не та послеоперационная бледность от большой потери крови. Что-то другое. Мне даже трудно передать это. Бледность напряженной умственной работы, что ли. Бледность решимости и внутренней силы.

Он был молчалив, на миг оживлялся, когда к нему обращались, на миг его лицо освещалось улыбкой, и он снова впадал в задумчивость.

А талант его между тем рос. Один раз за это время он вечером спел дома, в нашем маленьком кружке, и мы были потрясены тем, что это было уже совсем другое – не то, что в моей парикмахерской, и не то же, что было на концерте в Риме. Голос его темнел и наполнялся содержанием. Это с трудом поддается объяснению словами, а воспринимается лишь ухом и, скорее, сердцем. Но раньше, когда Джулио только начинал петь, у него был светлый баритон. Теперь же он стал темным и знойным. Жгущим. Но не открытым огнем, как может обжечь фальцет, например, а мощью внутреннего жара. Мощью, которая сразу забирает тебя всего.

Интересно, что о его голосе можно было судить, даже когда он не пел, а просто разговаривал. Стоило Джулио произнести несколько слов, и вас уже покоряли интонированность и задушевность его речи.

Мы все говорим некрасиво, синьор, и сами не замечаем этого. Мы привыкли. Слова служат для передачи друг другу мыслей. А если нам нужно выразить чувство, мы опять-таки достигаем этого не тональностью речи, а подбором специальных слов. Джулио же не только передавал мысли, но благодаря своему голосу окрашивал каждое слово, расширял его содержание и вместе с этим словом сообщал вам целый рой новых образов и чувств...

Но так или иначе время шло, в Рим и на виллу Буондельмонте съезжались те, кого пригласил Алляр. И настал наконец день, когда Джулио должен был выступить перед избранной публикой. День, который был главным для бельгийца.

Собралось много народу, синьор. Но если вдуматься, это не покажется удивительным. Для богатого человека, чье время расходуется между завтраками и обедами, поездками на яхте и кутежами, возможность побывать на серьезном концерте представляется какой-то видимостью дела. И чем больше расходов требует это начинание, тем сильнее крепнет в богаче уверенность, что он не просто развлекается, но поддерживает искусство и даже участвует в процессе его созидания.

Сначала прослушивание хотели сделать в репетиционном зале, вмещающем человек двадцать. Но собралось около сорока, концерт перенесли в главный зал, и публика заполнила там целых три ряда.

Аkkомпаниатор, тот самый Пранцелле, сел за инструмент, Алляр со своим ассистентом занял места в первом ряду, а мы, то есть Катерина, моя жена и еще несколько горожан, которым это было позволено, устроились за кулисами.

И вышел Джулио.

Синьор, вам может показаться странным, но в те мгновения, пока Джулио шел к роялю, я почувствовал в душе полную убежденность, что идея бельгийца ложна, что путем операции невозможно дать человеку голос (хотя голос у Джулио был и появился именно в результате операции; тут, конечно, противоречие, но позже вы поймете, в чем его смысл).

Надо было видеть, как Джулио вышел тогда из-за кулис, как он подошел к роялю, стал возле него и посмотрел на публику.

Он появился прямой, бледный, чуть прихрамывающий, но так, что это было заметно только знающим людям, и наполнил зал ощущением серьезности и благородства. Это было как гипноз, синьор. Какое-то удивительное обаяние исходило от него, токи прошли между ним и собравшимися, все лица стали серьезными, умолкли шорохи и разговоры, и разом установилась тишина.

Он очаровывал и возвышал людей просто сам собой. Конечно, слушатели ожидали необыкновенного, ведь некоторые даже пересекли океан для этого концерта. Конечно, все читали в газетах о «Тайне Монте-Кастро» и о «Загадке из Монте-Кастро». Но дело было еще и в поразительном артистизме Джулио, и в его удивительной сумрачной красоте. Женщины – и молодые и старые – просто не могли оторваться от него, они пожирали его глазами, и я заметил, как Катерина рядом со мной побледнела под загаром и закусил губу, увидев эти взгляды.

Начался концерт. Джулио исполнил несколько вещей, встреченных восторженными овациями. Затем на сцену поднялся бельгиец, попросил тишины и сказал, что голос, который здесь только что слышали, дивный голос Джулио Фератерра, не является врожденным даром, а получен с помощью операции, выполненной им, Алляром. После этого ассистент бельгийца прочитал несколько документов – заявление самого Джулио, протоколы врачей и свидетельство мэра нашего Монте-Кастро о том, что прежде, до операции, у Джулио не было никаких способностей к пению.

Далее бельгиец кратко рассказал о научных основах своего открытия и заявил, что за известное вознаграждение может каждого желающего наделить таким же, если не лучшим, голосом.

Синьор, скажите мне, как вам кажется, сколько из съехавшихся на виллу миллионеров пожелало пойти на операцию?..

Вы правы, синьор, ни одного! Ни одного человека!

Это поражает, но, если вдуматься, именно такого исхода и следовало ожидать. Ошибка бельгийского хирурга состояла в том, что он не учел потребительского характера психологии богатей.

Пока Алляр рассказывал, как он пришел к своей мысли и как делал операцию, его слушали с некоторым интересом. Правда, главным образом мужчины. Женщины же просто во все глаза смотрели на Джулио, которого бельгиец почему-то оставил на сцене. Они смотрели на него, сидевшего с потупленными глазами, и у нескольких американок было такое выражение, какое бывает у детей, которые ждут, когда же кончатся надоевшие им нудные разговоры взрослых и можно будет потребовать понравившуюся игрушку.

Но когда Алляр предложил записываться у него на операцию, его сразу перестали слушать.

Из-за кулисы мне хорошо был виден зал, и клянусь вам – все лица вдруг стали пустыми. И даже враждебными. Как будто бельгиец оскорбил их.

Понимаете, они готовы были аплодировать Джулио за его божественное пение и платить огромные деньги за право его слушать, они готовы были превозносить до небес и самого

Алляра, но мысль, что они сами могут лечь на операционный стол, казалась им крайне неуместной и даже обидной.

Минуты шли за минутами. Алляр, коренастый, холодный, решительный, стоял на сцене и ждал отклика. И наверное, ему постепенно становилось ясно, что его план рушился.

Какой-то полный молодой мужчина поднялся в зале. Нам показалось, он хочет предложить себя для операции. Но он, что-то бормоча про себя, стал пробираться между креслами к выходу.

В зале зашумели, и еще одна парочка встала. Какая-то женщина лет сорока в свитере тигриной расцветки подошла к самой сцене и начала в упор смотреть на Джулио. Глаза у нее были широко раскрыты, на лице написано восхищение, и она совершенно ничего не стеснялась.

Она что-то сказала по-английски, а Джулио продолжал сидеть, опустив голову.

Тогда бельгиец, чтобы как-то спасти положение, объявил, что всем предоставляется возможность подумать до завтра. Завтра состоится еще концерт, после которого он, Алляр, будет ждать в своей комнате желающих.

Вся толпа приезжих тотчас было кинулась на сцену к Джулио. Я даже не понял зачем. То ли затем, чтобы поздравить его, то ли чтобы просто до него дотронуться, как дети любят дотрагиваться до понравившихся им вещей.

Но он сразу поднялся, ушел к нам за кулисы, и вместе с красной от негодования Катериной все мы отправились домой.

А на следующий день повторилась та же история: бешеные аплодисменты после каждой арии и гробовая тишина, когда концерт кончился. И уже двумя часами позже роскошные автомобили у парка Буондельмонте стали разъезжаться. Один за другим «ягуары», «крейслеры» и «пontiаки» брали направление на Рим и навсегда исчезали из наших глаз.

Таким образом, замысел бельгийца потерпел крах, крупные деньги, вложенные им в организацию концерта, снова пропали впустую. Позже служители на вилле рассказывали, что бельгиец один всю ночь ходил по саду, а утром, так и не ложившись, сел в машину и уехал римской дорогой.

Поскольку хирург внушал нам страх, нам хотелось верить, что мы его больше не увидим и Джулио будет оставлен в покое.

Но мы понимали, что надеяться на такой исход нельзя. В этом человеке было нечто сродни Мефистофелю, и всякое дело он доводил до конца – хорошего или плохого, все равно.

Несколько дней Джулио провел дома, и, скажу вам, это были лучшие дни. Каждый вечер он пел для наших горожан прямо на площади перед остерией. А если с утра небо бледнело и начинала дуть трамонтана, концерт устраивали внутри, в помещении. Одни сидели за столиками, другие – на столиках, а третьи стояли на полу, засыпанном опилками.

Счастливые часы, синьор! С утра, садясь за свой верстак, спускаясь в лавчонку или выходя в поле, каждый знал, что вечером он услышит Джулио. И мы стали лучше, чище, благороднее. Что-то очень человеческое стучало нам в душу. Кто был озлоблен, смягчился, прекратились ссоры между мужьями и женами. Мы научились по-новому ценить и понимать друг друга.

Потом Джулио получил вызов от братьев Анджелис и уехал в Рим репетировать свою программу.

На втором концерте в театре я не был. Скажу только о двух характерных моментах, которые мне известны в передаче Катерины.

Когда Джулио начал петь и спел свою первую вещь – арию Шенье из одноименной оперы, зал не аплодировал.

Вы понимаете, он спел – ни одного хлопка, ни звука. Гробовое молчание.

И Катерина, и моя жена, и, наверно, владельцы театра подумали, что певец провалился, хотя он спел блистательно. Но дело было не в этом. Просто слушатели сидели ошеломленные. Ждали многого, но никто не ожидал такого. Это было как откровение. Так сильно, так пле-

нительно и вместе мужественно, что казалось святотатством нарушить безмолвие, в котором отголоском еще звучала заключительная фраза арии. Никто не решался аплодировать, и в этой напряженной и страшной тишине Джулио, испуганный, с искаженным лицом, дал знак Пранцелле начать следующую вещь.

И второе. Когда зал уже пришел в себя и после каждой арии разражался бурей оваций, Джулио однажды, во время неистового шума и криков, обратился было к аккомпаниатору. Он хотел попросить, чтобы две арии были переставлены местами.

Так вот, едва он открыл рот, зал умолк. Огромный зал весь сразу. Люди подумали, что он начинает петь, и инстинктивно замолчали, застыли. Как если бы кто-то сдернул весь шум и грохот одним мгновенным могучим рывком. В течение десятой доли секунды.

И все это, когда публика уже знала, что у Джулио сделанный и как бы не свой голос. При том что в нескольких газетах Алляр уже дал объявление, что может каждому сделать такой же тенор, как у Джулио Фератерры.

Тогда, в тот же вечер, Марио дель Монако и поднес Джулио букет цветов. Вам, наверно, попадалась эта знаменитая фотография. Она была и в «Экспрессо», и в «Уни́та», и вообще ее перепечатали все газеты мира.

Марио дель Монако поднялся на сцену, обнял Джулио, поцеловал и вручил ему огромный букет красных роз. Зал стоя рукоплескал им в течение целых четверти часа. Неудивительно. У меня выступили на глазах слезы, когда я услышал об этом.

Катерина рассказала мне все, но конец был печален. Выяснилось, что на следующий день после концерта Джулио по требованию Алляра снова лег в клинику на Аппиевой дороге.

Вы спросите – зачем, зачем? Я задал себе этот вопрос. Бельгиец объяснил Джулио, что хочет исследовать его. Общее состояние, деятельность высшей нервной системы и всякие такие вещи. Ну что ж, исследовать так исследовать.

Но мы боялись другого...

Синьор, я забыл вам сказать, что, когда Алляр второй раз приехал в Монте-Кастро, ему не давали прохода те, кто тоже хотел получить голос путем операции. Люди готовы были отдать себя чуть ли не в рабство. Но бедняки, естественно.

И позже, в Риме, после этих объявлений в газетах толпа несколько раз штурмом брала дом, где остановился хирург, так что ему пришлось переехать и скрываться. Но опять-таки толпа бедняков. А из богачей, из тех, кто посещал концерты Буондельмонте, не было ни одного.

Тогда Алляр заметался. Еще два раза он устраивал маленькие закрытые частные концерты в особняках района Париоли. Еще дважды он взывал к их обитателям. Но там с удовольствием слушали Джулио, оставаясь глухими к предложениям бельгийца.

Может показаться, что хирург мог бы действовать и другим способом. Просто создавать певцов и эксплуатировать их голос. Но он был не такой человек, Алляр. В воображении он нарисовал картину клиники, где он каждый день делает операцию кому-нибудь из миллионеров и каждый день присоединяет к счету в банке новую огромную сумму. Так или не так. Середины он не хотел. Он не был стеснен в деньгах и не имел нужды размениваться на мелочи.

Когда я узнал, что Джулио опять оказался в клинике, сравнение с дьяволом, купившим душу человека, снова пришло мне на ум, и мне сделалось страшно.

Я испугался, а Катерина страшилась еще больше. И вообще, синьор, ей было трудно все это время, пока Джулио учился петь и так решительно шел к славе.

Хотя прежде они не то чтобы совсем считались женихом и невестой, но в городке привыкли их видеть вместе. Затем появился Алляр, Джулио вернулся из Рима на костылях. По тому, как девушка взялась помогать ему и семье, можно было судить, что дело идет к свадьбе.

На самом же деле никакой договоренности не было, и, напротив, начав свой взлет, Джулио стал отдаляться от Катерины. Об их будущем он не говорил, а она была слишком горда,

чтобы спрашивать. Он подолгу жил не дома – то в Риме, то на вилле Буондельмонте, его окружали богатые люди, и дерзкие женщины, не стесняясь, восхищались его трагической красотой.

Можно было приписать его нерешительность тому, что он все еще чувствовал себя инвалидом, боялся возвращения паралича и не хотел связывать жизнь девушки с калеккой. Но можно было приписать и другому.

Джулио пролежал в клинике месяц, и лишь иногда его отпускали в театр для репетиций. Приближался день последнего концерта на Виа Агата. Корреспонденты приезжали в клинику, где их не принимали, и приезжали к нам, где мы тоже ничего не могли сказать. В газетах стали мелькать заметки, что эксперимент не удался, Джулио теряет голос и не сможет выступить. Но владельцы театра не собирались возвращать деньги за билеты, и, наоборот, было объявлено, что концерт будет транслироваться по радио и телевидению.

Дважды Катерина ездила в Рим, но в клинику ее не пускали, и она только получала записки, что Джулио чувствует себя хорошо и просит не беспокоиться.

Мы уж не думали, что попадем в театр, но в день концерта из Рима приехал курьер с двумя билетами – Катерине и мне. Нам пришлось очень торопиться, чтобы не пропустить подходящий автобус, и мы успели в театр к самому началу. На улице меня встретил директор, Чезаре Анджелис, и сказал, что Джулио хочет меня видеть. Меня одного.

Мы поднялись на второй этаж, где у них расположены артистические уборные, директор довел меня до нужной двери и ушел. В коридоре было пусто, Джулио приказал из публики никого не пускать.

Я постоял один. Было тихо. Снизу чуть слышно доносились звуки скрипок. Там оркестранты настраивали инструменты (на этот раз Джулио пел в сопровождении оркестра).

Я постучал, в комнате послышались шаги. Дверь отворилась, вышел Джулио, обнял меня и провел к себе. Он очень похудел с тех пор, как я видел его в последний раз. Лицо его было усталым, и вместе с тем на нем выражалась удивительная, даже какая-то ранящая мягкость и доброта.

Мы сели. Он спросил, как Катерина и его родные. Я ответил, что хорошо.

Потом мы помолчали. Не знаю отчего, но вид его был очень трогателен. Так трогателен, что хотелось плакать, хотелось сказать ему, какой он великий певец, как мы ценим его. Хотелось объяснить, что мы понимаем то тяжкое и двойственное положение, в котором он находится, владея голосом, который в то же время как бы и не его голос.

Но конечно, я ничего не сказал, а просто сидел и смотрел на него.

Прозвучал первый звонок, затем второй и сразу за ним третий. Я не решался напомнить ему, что пора на сцену, а он сидел задумавшись.

Потом он встряхнулся, вздохнул, встал и сказал, глядя мне прямо в глаза:

– Завтра я ложусь на операцию.

– На операцию?..

– Да. Скажи об этом нашим. Алляр хочет сделать мне еще одну операцию.

– Зачем?

Он пожал плечами:

– Не знаю... Хочет расширить диапазон до пяти октав.

– Но для чего это тебе?

Проклятие! Я забежал по комнате.

– Не ложись ни в коем случае! Зачем это? А вдруг операция будет неудачной? Это же опасно. Никто тебя не может заставить.

– Но у меня договор. Тогда, еще год назад, мы составили договор, что, если Алляр сочтет нужным, мне будет сделана повторная операция.

Я стал говорить, что такие договоры незаконны, что любой судья признает этот пункт недействительным. Но он покачал головой. И вы знаете, что он сказал мне?

Он сказал:

– Я должен. Но не из-за договора. А потому, что я не верю, что Алляр дал мне голос.

Я не совсем понял его, но почувствовал, что есть какая-то правда в том, что он говорил.

Мы уже стояли в коридоре. Он был пуст. Почему-то мне показалось, что жизнь так же длинна, как этот коридор, и очень трудно пройти ее всю до конца...

Гром оваций встретил Джулио, когда он появился из-за кулис. Аплодисменты длились бы, наверно, минут десять, но Джулио решительно подал знак оркестру. Дирижер взмахнул палочкой, и палились звуки «Тоски».

Синьор, ария Каварадосси считается запетой, но Джулио взял ее нарочно для начала концерта, чтобы показать, как ее можно исполнить.

Чистый-чистый голос возник, и весь зал разом вздохнул. А голос лился шире и шире, свободнее и выше, он заполнял все: сцену, оркестровую яму, партер, все здание, улицу, город, мир. Голос лился в наши души и искал там красоты и правды и находил их. И когда казалось, что она уже вся найдена и исчерпана, он находил ее все больше, и это было даже больно, даже ранило.

Голос ширился, шел все выше, открывались глаза, открывались сердца, вселенные раскрывались перед нами.

Голос плакал, просил, угрожал, он ужасал приходом рока, наполнял предчувствием неправомого.

Голос звал, поднимал нас, и был уже произнесен приговор всему злу и неправде, и чудилось, что, если еще миг продлится, провисит в воздухе этот дивный звук, уже невозможно будет жить так, как мы живем, и радость и счастье воцарятся наконец на земле. И голос длился этот миг, и мы понимали, что счастье еще не пришло, что нужно его добыть, бороться. Мы вздыхали и оглядывали друг друга новыми глазами...

Синьор, я мог бы часами говорить о последнем концерте Джулио Фератерры. Но слова бессильны и не могут выразить невыразимого.

Концерт слушали в театре на Виа Агата. В Риме люди сидели у телевизоров и у приемников. В тот вечер Джулио слушала вся Италия.

После концерта Джулио отправился в клинику, и бельгиец сделал ему вторую операцию.

Синьор, я заканчиваю, мне уже мало осталось рассказать.

Джулио вернулся в Монте-Кастро через шесть недель. Приехал из Рима, никого не предупредив, и пошел к себе домой. Кто-то сказал мне о его приезде, и я побежал к нему. Я увидел его со спины сначала, он возле сарая приделывал ручку к серпу. Он был согнут, как рыболовный крючок, а когда повернулся, я увидел, что его лицо постарело на несколько лет.

Я поздоровался. Он ответил, и я его не услышал. У него совсем не было голоса, он мог только шептать. Неосторожным, а может быть, и намеренно грубым движением бельгийский хирург разрушил то, чему первая операция дала выход.

Джулио был очень спокоен и молчалив, но это было бездушие механизма. Он потерял желание жить. Почти невозможно было заставить его рассмеяться, улыбнуться, захохотать... Сначала возле их домика постоянно дежурили автомобили, и Джулио приходилось целыми днями прятаться от журналистов. Но довольно скоро, через месяц-полтора, его забыли в столице, и он смог вернуться к тому, что делал раньше: к работе на огороде, в поле и в чужих садах.

Я думаю, синьор, вы догадываетесь, кто вернул его к жизни. Конечно Катерина. Эта девочка взяла да и женила его на себе. В один прекрасный день явилась к ним в дом с двумя своими узлами, разгородила единственную комнату, повесила занавеску, справила документы в мэрии и потащила его в церковь, где уже все было договорено. А потом так плясала на свадьбе, что и мертвый пробудился бы...

На этом можно было бы и закончить нашу историю, синьор, но остается еще вопрос. Важный вопрос, для которого я, собственно, и стал рассказывать вам о Джулио Фератерре.

Синьор, мой дорогой, как вы считаете, мог ли бельгийский врач действительно дать Джулио голос? И неужели мир уж настолько несправедлив, уж настолько устроен в пользу имущих, что даже талант можно продать и купить за деньги?

Вот здесь-то мы и подходим к самому главному.

На первый взгляд дело выглядит просто. До встречи с Алляром у Джулио не было голоса и он не мог петь. После операции голос явился и Джулио Фератерра стал великим певцом. Но что же сделал ему своим ножом хирург? Да очень мало, почти ничего, вот что я скажу вам. Разве на кончике ножа лежали та нежность, тот артистизм, то обаяние, та страсть, что пели в голосе Джулио?

Нет и тысячу раз нет!

Я много думал об этом и понял, что бельгиец не дал Джулио голоса. Весь его план разбогатеть, продавая голос, был заранее обречен на неудачу.

Чтоб разобраться в этом, мы принуждены снова вернуться к вопросу, что же такое талант певца, художника или поэта. Талант, синьор, не есть, как думают некоторые, случайный приз, вручаемый природой, нечто зависящее от числа нервных клеток либо извилин мозга. Люди бесталанные этими рассуждениями прикрывают свою зависть и лень ума. Гений – это вполне человеческое, а не медицинское понятие. Талант рождается воспитанием, тем, как прожита жизнь, средой, страной и эпохой. И хирургия тут бессильна.

Скажу вам точнее: талант каждого отдельного человека создается огромным множеством людей. Шопен невозможен без Бетховена, а тот, в свою очередь, без Баха и Люлли с его контрапунктом. Но Шопен невозможен также и без Польши, израненной в те времена русскими царями, без польских лесов, рек, где в фиолетовых сумерках плавают его русалки, без своих соотечественников – крестьян, польских художников, композиторов. Другими словами, гений есть нечто вроде копилки, в которую все люди постепенно вкладывают взносы доброго. И талант проявляется лишь в той мере, в какой творец искусства способен воспринимать и отдавать это доброе. Гении понимают это, потому они скромны, свободны от кичливости, сознавая, что то, что движет их пером, кистью или смычком, принадлежит не им, а всем людям мира.

Талант – это выраженная способами искусства любовь к людям. Доброта. Но наш Джулио как раз и был добр.

Он был хорошим парнем, я говорил вам. Но что же такое «хороший парень» в наших условиях, синьор? Не стану жаловаться, я презираю это. Но взгляните, как мы живем. Посмотрите на наши лохмотья, на пропыленные улицы городка, на лица безработных на площади. Сейчас много говорят об «экономическом чуде», и в газетах печатаются цифры, показывающие, насколько вырос национальный доход страны. Но этот подъем не доходит до нашего заброшенного края, и мы живем здесь так же, как тридцать лет назад. Не скрою, что не каждый здесь надеется на лучшее и строит планы, а многих заставляет продолжать жить самый примитивный инстинкт.

Так вот, каким же человеком нужно быть, чтобы в этих условиях оставаться «хорошим парнем», веселым, уступчивым, обязательным, улыбаться и сохранять душевную гармонию?

Но Джулио и был таким. У него была доброта, которая есть суть всякого таланта, в то время как песня, игра на рояле или картина являются его видимыми образами.

Джулио был добр и, кроме того, горячо любил музыку. Он родился в певучей стране, с детства музыка была вокруг него в наших разговорах. Она пела у него в душе, внутри, и, когда явился Алляр, нужно было лишь немного, чтобы вызвать ее наружу.

Хирург не дал голоса Джулио, а только открыл его. Случай натолкнул Алляра на великого артиста, но на артиста, талант которого слепой игрой несправедливой природы был закрыт для людей. И хирург, не понимая этого сам, лишь разрешил несправедливость, исправив ножом ошибку природы и дав выход тому, что и прежде было в душе Джулио.

Одним словом, хотя опыт с Джулио получился успешным, но эта идея бельгийца – награждать голосом за деньги – была ложна. Он ничего не мог бы дать тому, у кого внутри пусто и черно.

...Что вы говорите?.. Джулио? Да ничего. Сейчас уже ничего. После свадьбы он, в общем-то, начал поправляться. Немного выпрямился, в глазах стал показываться блеск. Теперь работает на тракторе в поместье Буондельмонте. Он работает на тракторе, и недавно у него появилось еще занятие.

Вы знаете, это счастье нашего городка. У нас снова светит солнце таланта. У нас есть мальчик, сынишка одного бедняка-инвалида. Ему всего тринадцать лет, он служит разносчиком в мелочной лавке. И у него голос, синьор. Удивительный, дивный, божественный голос. Его зовут Кармело, и теперь Джулио учит его петь. Но голос как у соловья... Да вот он бежит со своей корзинкой!.. Кармело! Эй, Кармело, иди сюда! Иди скорее... Вот это синьор из России, он хочет послушать, как ты поешь... Спой нам, Кармело, что-нибудь... Да, пусть будет «Аве Мария»... Ну пой же, мальчик мой любимый. Пой...

Восемнадцатое царство

...Все было для Сергея увлекательным и интересным: и Мухтар, и Самсонов, с которыми он только недавно познакомился, и эта поездка по степи, и вообще весь Казахстан, увиденный вот так впервые в жизни.

Сергею было девятнадцать лет, он учился в Ленинграде на втором курсе библиотечного института и летом после экзаменов отправился на экскурсию в Алма-Ату. Потом другие ребята уехали обратно, а Сергей остался, чтобы выполнить одно поручение. Само поручение тоже было удивительным и романтическим.

Когда Сергей был еще дома, к ним, в Гусев переулок, приехала дальняя родственница из Киева, жена ученого-энтомолога, погибшего в 1941 году. Узнав, куда едет Сергей, она рассказала, что ее муж как раз перед началом войны закончил в своем институте перспективное, как тогда считали, исследование по насекомым. Работа была коллективная, но группа, занимавшаяся ею, в период боев под Киевом пошла на фронт и вся погибла. Уцелел только лаборант мужа, обрусевший немец Федор Францевич Лепп, который на фронт не попал и при невыясненных обстоятельствах остался в Киеве при фашистах. После освобождения столицы Украины он куда-то исчез, а потом его видели в Казахстане, в маленьком местечке Ой-Шу, в горах. Родственница Сергея считала, что у Леппа могли сохраниться какие-нибудь записи мужа.

Сергей сгоряча пообещал обязательно разыскать бывшего лаборанта, но, когда остался один в Алма-Ате, выяснил, что это не так легко. От железной дороги до Ой-Шу было больше ста километров. Автобусы и никакой другой регулярный транспорт туда не шли, и вообще дорога считалась непроходимой для колеса.

Сергей уже совсем было приуныл, но на станции Истер, куда он добрался, ему посоветовали сходить в контору Геологического управления. Там в маленьком дворике возле двух оседланных коней он увидел пожилого лысеющего мужчину, который с сосредоточенным вниманием рассматривал ремень выюка. Это был Самсонов. А дальше все начало складываться само собой, как в сказке.

Самсонов выслушал Сергея, помолчал, посмотрел на небо и тут же, не сходя с места и не обращая ни в какие инстанции, сказал, что возьмет его до Ой-Шу. Что они потом доедут до озера Алаколь, а оттуда – до озера Сасыкколь, от которого Сергей уже сможет самостоятельно выбраться к железной дороге.

При этом он прибавил, что ему, Самсонову, придется сделать крюк в триста километров, но это неважно, так как на Алаколе изыскательская партия ждет его не раньше чем через десять дней.

– А когда поедем? – спросил, волнуясь, Сергей.

– Да хоть сейчас. Надо бы только на станцию зайти. Вдруг попутчик найдется... Как тебя звать-то?..

Сергей первый раз за всю жизнь видел человека, который мог вот так самостоятельно решить сделать крюк в триста километров по пустыне. Он сразу чуть не влюбился в Самсонова. Ему хотелось научиться с такой же ленцой сидеть в седле, так же неторопливо и ловко все делать, захотелось даже иметь такую же загорелую лысину, какая была у геолога.

Попутчик нашелся тут же в Истере – старый казах с холодным, равнодушным взглядом, широкий, как бочонок, и кривоногий. Он сидел в буфете на станции и сам ввязался в разговор. Звали его Мухтар Оспанов, по-русски он говорил чисто.

Они выехали на следующее утро, и тут выяснилось, что Мухтар сам знает Леппа, который живет не в Ой-Шу, а еще дальше, в предгорье, в полном одиночестве. (Что он там делает, Мухтар не сказал.)

В первый день пути им навстречу попался молодой казах – инструктор райкома партии. Он спросил, не смогут ли они прочесть антирелигиозные лекции в ближайших аулах, рассказал, что в степи появился жулик, выдающий себя за святого, и что в этой связи наблюдается «взрыв религиозного фанатизма». Выражение «взрыв религиозного фанатизма» ему очень нравилось, он повторил его трижды.

В разгаре беседы его взгляд вдруг упал на жеребца, которого Самсонов дал Сергею, и инструктор райкома попросил разрешения попробовать его. Сергей спешил, инструктор вручил ему повод своего коня, не выпуская из рук портфеля с делами, вскочил на жеребца и показал такой аллюр, какой Сергею и не снился.

Все это, вместе взятое, – и «взрыв религиозного фанатизма», и таинственный молчаливый Мухтар, и Самсонов, и романтический характер поручения, и ночевки в юрте, и огромное звездное небо, если выйти ночью, и хруст травы, которую щиплют в темноте кони, – все наполняло Сергея острым чувством счастья.

Степь располагала к разговорам и мечтам. Сергей еще раньше, в деревне под Ленинградом, выучился ездить верхом, поэтому длительная встреча с седлом здесь, в Казахстане, не оказалась для него мучительной. Было так радостно мерно покачиваться в такт широкому шагу жеребца, всматриваться в синие горы на горизонте, размышлять, иногда обращаться с каким-нибудь вопросом к Самсонову и получать от него неожиданные, требующие новых размышлений ответы.

– Петр Иванович, а как вы думаете, может, например, существовать такая планета, которая вся представляла бы собой единственный сплошной огромный мозг?

Самсонов думал минуту или две.

– Сомнительно. Мозг ведь развивается, только прилагая свою деятельность к чему-нибудь. Где нет ничего, кроме мозга, не может быть и мозга.

А когда Самсонову хотелось помолчать, можно было беседовать с конем, потому что тот в ответ на каждую фразу по-другому ставил уши. Это было как разговор по семафору. Говоришь жеребцу что-нибудь – правое ухо опускается, а левое встает торчком. Говоришь другое – левое ухо идет вперед, а правое поднимается. И так все время.

А потом можно было дать коню повод, прижать ему брюхо каблуками и мчаться в галоп так, что космы травы по бокам внизу сливались в прямые линии, а степь бешено неслась навстречу.

Остановишься – конь фыркает, встряхивает головой, бросает белую пену с губ, а Мухтар и Самсонов видны вдали маленькими фигурками.

На третий день начались горы, и, следуя за Мухтаром узкими, натоптанными тропинками, путники углубились в лабиринты холмов и ущелий.

Горы были каменными, мертвыми и в то же время какими-то живыми. Неправдоподобно огромные, неподвижные, они, казалось, поднялись с груди земли с какой-то тайной целью, в которую никогда не проникнуть маленьким мушкам – всадникам, медленно ползущим вдоль гигантской стены.

Горы молчали, но, когда Сергей долго вглядывался в какой-нибудь гранитный, в трещинах уступ, чудилось, будто напряженные изнутри глыбы оживают и что-то немо говорят.

...Муравьи шли плотной колонной около полутора метров ширины. Насекомые были крупные, красные и сильно кусались. Когда Сергей подобрал одного на руку, тот вцепился в палец с такой энергией, что тотчас выступила крохотная точка крови.

– Голодные, – сказал Сергей.

Уже с полчаса они с Самсоновым наблюдали за удивительным шествием. Все мелкое население степи разбегалось на пути красных разбойников, а кто не мог убежать, тому приходилось худо. По обеим сторонам колонны спешили отряды разведчиков. Жужелицы, кузнечики, пауки – все, что не успевало спастись, разрывалось на части.

На пути колонны из норки вылезла небольшая желтая змея и поспешно поползла прочь. Тотчас сотни насекомых очутились на ней. Змея задергалась, заторопилась, но с каждой секундой муравьев на ней становилось все больше, в конце концов она вся покрылась ими. Змея свертывалась и развертывалась, но это был уже какой-то черный копошащийся клубок.

– Черт! – Сергею стало жаль ее. Он шагнул к колонне и ногой отшвырнул змею в сторону. Сразу же у него на руках оказалось с десяток насекомых.

Он поспешно отряхнулся.

– Поедьте, Петр Иванович.

– Сейчас, – ответил Самсонов.

Муравьи кусали и его, но он смотрел на них с радостным интересом исследователя, у которого удовольствие при встрече с новым явлением в природе полностью перевешивает неудобства, с этим явлением связанные.

Мухтар с конями ждал их поодаль.

– Никогда такого не видел, – сказал Самсонов. – Не знал, что тут водятся такие кочующие муравьи.

Они подошли к коням.

– А что, здесь часто вот так муравьи кочуют? – спросил геолог у проводника.

Мухтар, мешком сидя на высоком деревянном седле, равнодушно пожал плечами.

Вдали вдруг послышался топот множества копыт. Из-за ближайшего холма пушечным снарядом вылетел гнедой неоседланный жеребец с развевающейся гривой. За ним скакали другие, все с такими же гривами, темно-гнедые, со звездочкой на лбу.

Мгновение – и косяк в два десятка жеребцов пронесся мимо.

Потом снова раздался топот.

Молодой загорелый табунщик в лисьей шапке вымахал из-за холма на крупном галопе. Увидев всадников, он стал сдерживать коня и подъехал. Мельком оглядев Самсона и Сергея, он кивнул и горячо заговорил с Мухтаром.

Лицо у него было потное и злое.

Они говорили по-казахски. Сергею казалось, будто парень чего-то требует от проводника и в чем-то его обвиняет. Но лицо Мухтара оставалось каменным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.